

# КОГДА ВЗОЙДЁТ ХОЛОДНАЯ ЛУНА



Клэр Морн

18+

Клэр Морн

# **Когда взойдёт Холодная Луна**

«Автор»

2026

## **Морн К.**

Когда взойдёт Холодная Луна / К. Морн — «Автор», 2026

Зиму стёрли с карт, из календарей и людской памяти. Варвара должна была стать ещё одной вычеркнутой строкой. В этом мире двенадцать месяцев владеют магией, а домовые и лесная нечисть встречаются не только в старых сказках. Чтобы найти своё место, Варваре придётся узнать, о чём молчат месяцы, и освоить магию, за которую в её мире приговаривают к смерти. Только ни старые тайны, ни уроки в академии не дадут ответа на главный вопрос: почему она родилась такой, какой не должно существовать? Варвара привыкла скрывать свою силу. Скрыть любовь окажется труднее — особенно от того, кому она так неосторожно позволит узнать себя настоящую.

© Морн К., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1                           | 5  |
| Глава 2                           | 9  |
| Глава 3                           | 12 |
| Глава 4                           | 15 |
| Глава 5                           | 18 |
| Глава 6                           | 21 |
| Глава 7                           | 24 |
| Глава 8                           | 27 |
| Глава 9                           | 31 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 44 |

# Клэр Морн

## Когда взойдёт Холодная Луна

### Глава 1

Ветер был злым. Не холодным, а просто злым. Холод в этом мире остался лишь в старых сказках и на страницах пожелтевших книг. Он тащил с пустошей мелкую, колючую пыль, которая забивалась в волосы, скрипела на зубах и заставляла щуриться.

Меня зовут Варвара. Варвара Клирбрук. Мать говорила, что имя мне выбрали не по месяцу рождения, а по характеру. Я родилась в январе, а январь в нашем мире месяц запретный. Мать говорила, что таких, как я, земля держит крепче, потому что мы сами в неё вгрызаемся, когда надо устоять. Пять лет назад, в этот самый день, ветер забрал её.

Мы с Эли сидели на жестяной крыше старой водонапорной башни на окраине города. Ветер вытаскивал из моей косы короткие рыжие завитки и лез ими в рот. У Эли волосы лежали гладко даже здесь. Я стянула свою косу потуже и заправила выбившиеся пряди под воротник. Это было наше место. Отсюда открывался вид на бесконечные поля, укрытые серо-коричневым ковром сухой травы, и на город, который готовился к празднику: тесные крыши спускались к рыночной площади, а за ними на холме темнели башни отцовского дома. Между домами уже двигались первые огни.

— Холодная Луна, — произнесла Эли, болтая ногами в воздухе. Её светло-каштановые волосы ловили свет уличных фонарей и отливали мягким медовым золотом. — Каждый год одно и то же. Мы приходим, смотрим, ничего не происходит.

Я не ответила. Я смотрела на небо.

Луна висела низко, огромная, тяжёлая, как перезрелый лимон, и бледная, как старая кость. В этом мире, где зимы не было уже больше пятидесяти лет, луна стала символом избавления. Люди говорили, когда луна нальётся бело-синим светом, придёт Зима — придёт холод, придёт смерть плодородного мира. Люди полвека боялись этих слов и каждую ночь Холодной Луны молились, чтобы она так и осталась жёлтой. Они радовались, что убийственные морозы, о которых рассказывали старики, никогда не вернутся, что их детям не придётся хоронить соседей, замёрзших в собственных домах. И год за годом жёлтая луна награждала их за молитвы: ничего не происходило, ничего не менялось, страх таял, как дым, и оставался лишь тёплый, сытый покой.

Я не могла разделить эту радость. Мне хотелось увидеть снег хотя бы раз, хотя бы краем глаза. Не смерть и не конец света, а просто снег: белый, тихий, лежащий на ладонь и тающий от дыхания. Мать говорила, что он пахнет свободой на острие маленьких кинжалов, и я всю жизнь пыталась представить этот запах.

— Ты думаешь, в этом году? — тихо спросила я, кутаясь в тонкий плащ. В последнюю ночь ноября всегда становилось зябко, но это была лишь иллюзия холода. Даже к утру вода в бочках оставалась живой.

— В прошлом году ты тоже спрашивала. — Эли вздохнула и положила голову мне на плечо. — И в позапрошлом. Вара, милая, зимы нет. Её не будет. Мы просто... смотрим на желтый шар и делаем вид, что ждем чуда хотя на самом деле все молятся, чтобы чуда не случилось.

Вблизи я видела маленькую родинку под её левым глазом. Эли была чуть выше меня, тонкая в плечах; её карие глаза темнели, когда она переставала улыбаться. Когда Эли щурилась от смеха, родинка почти пряталась в складке кожи. Я знала её лицо так хорошо, что обычно замечала усталость раньше, чем подруга успевала пожаловаться. — И что? — Ничего. Я поэтому и помню. Я толкнула её плечом. Эли устроилась удобнее. — Если пойдёт снег, разбудишь. —

Ты его пропустишь. — Ты мне потом год будешь рассказывать. С подробностями, — сказала Эли, закутываясь в накидку.

— Моя мама верила, — сказала я, и голос предательски дрогнул.

Эли замолчала. Она знала. Все знали. Пять лет назад, в ночь Холодной Луны, моя мать покинула дом под покровом темноты, не сказав никому ни слова о том, куда и зачем идёт, и больше не вернулась. Утром стража нашла её тело на окраине города, полностью истерзанное, будто его рвали звери, лицо её было изуродовано до неузнаваемости. Никто не стал ничего выяснять, даже отец, который просто велел похоронить её как есть и запретил мне задавать вопросы, запретил искать, запретил даже думать об этом.

— Прости, — прошептала Эли. — Я не хотела.

— Всё нормально.

Внизу, на площади, началось движение. Люди выходили из домов, их было много, гораздо больше сотни. Они несли не только бумажные фонарики, но и факелы, хворост, старые обереги из сушёных трав. Праздник Холодной Луны давно потерял прежнюю торжественность, но не растерял размаха: всю ночь жгли огромные костры, пели и били в бубны. До нас долетали дым сушёных трав и обрывки песен; люди смеялись громче, чем обычно, будто пытались заглушить собственные молитвы всем богам сразу, чтобы те отогнали холод, чтобы зима никогда не пришла, чтобы луна осталась жёлтой и тёплой.

— Смотри. — Эли выпрямилась и указала рукой в сторону горизонта.

Луна начала меняться.

Это было едва заметно. Желтый диск, казалось, подернулся дымкой. Края его стали размытыми, словно кто-то провел по нему влажной кистью. Я затаила дыхание, как делала каждый год. Сердце забилося быстрее.

— Это просто облака, — сказала Эли, но в её голосе не было уверенности.

— Нет. Это не облака.

Свет стал холоднее: жёлтое сияние побледнело. По краю луны проступила голубая кайма и стала шире. Цвет льда, который я слишком хорошо знала и никогда прежде не видела в небе.

— Вара... — Эли схватила меня за руку.

Луна стала синей.

Всего на мгновение, на один удар сердца диск налился глубоким, пронзительным сапфировым светом, и по округе разнесся тихий, почти неслышный звон, будто где-то далеко раскололся лёд, который уже полвека не вставал на реках.

А потом всё исчезло. Луна снова стала жёлтой, как старая монета, ветер стих, пыль осела, и на площади люди недоуменно переглядывались, кто-то засмеялся, кто-то заплакал, но завили праздника уже бежали между кострами, размахивая факелами и крича в толпу, что это были всего лишь облака, набежавшие на луну, что боги не гnevаются, а если и гnevаются, то стоит молиться ещё усерднее, и люди послушно подхватили молитвы, затаили их громче прежнего, словно криком можно было заглушить то, что они только что видели. Праздник в этом году пошёл скомканно, гуляния вышли не такими громкими, как всегда, и над площадью вместо песен всё чаще висел шёпот. С вышки, где мы сидели, было отчётливо слышно, как глашатаи объявляли одно и то же у каждого костра, и голоса их дрожали, как у людей, которые сами не верят в то, что говорят.

— Ты видела? — прошептала я, не веря своим глазам. — Эли, ты это видела?

— Видела. — её лицо было бледным. — Но... этого не может быть. Это же просто... просто морок. Наваждение. Да, точно. Пыль в воздухе, дым от костров — вот и померещилось

— Это была зима, — сказала я. — Это был её цвет.

Мы молчали. Внизу люди начали расходиться по домам. Праздник закончился так же, как и все предыдущие. Ничего не произошло. Кроме одного мгновения.

— Вара. — Эли убрала руку и посмотрела на меня. В её глазах была странная смесь нежности и вины. — Я должна тебе кое-что сказать.

— М?

— Я... — она замялась, теребя край накидки. — Помнишь, мы ещё маленькими поклялись, что всегда будем вместе? Что будем сбегать ночами, смотреть на луну, искать приключения?

— Помню.

— Так вот. — Она глубоко вздохнула. — Кажется, я скоро выйду замуж.

Слова упали в тишину, как камни в колодец.

— Замуж? — переспросила я, хотя услышала всё прекрасно.

— За Стеллена из торгового квартала. Его семья хочет, чтобы мы... ну, ты понимаешь. Свадьба, дом, дети. Всё как у людей.

— Как у людей, — эхом отозвалась я.

— Я больше не смогу быть свободной, Варвара, — её голос дрожал. — Не смогу больше делить с тобой ночи, болтать до рассвета, смеяться над тем, над чем нам обоим запрещено смеяться, и сбегать на крышу, когда весь город спит. Прости. Я так хотела сказать тебе раньше, но... сегодня такой день. Я не знала, как.

Я смотрела на неё. На светло-каштановую девочку, которая была рядом со мной с семи лет. Которая держала меня за руку на похоронах матери. Которая смеялась, когда я падала, и плакала, когда я плакала. Которая казалась мне сестрой.

— Ты его любишь? — спросила я, и голос прозвучал резче, чем я хотела.

Эли растерялась.

— Я... — она пожала плечами. — Стеллена? Да я его почти не знаю. Видела раза три, может, четыре. Он не злой, кажется. И не старый.

— Тогда зачем?

— Затем, что он богатый, Вара. — Она вздохнула, и в этом вздохе было столько усталости, что я впервые заметила, как она постарела за последний год. — Затем, что моя семья еле сводит концы с концами, а его семья обещает нам долю в торговле. Затем, что мне уже двадцать! Если я не выйду замуж в этом году, меня начнут называть перестаркой, а мои младшие сёстры — бесприданницами по моей вине. Меня все уговаривают, Вара. Мать плачет, отец молчит, сестры смотрят на меня так, будто я уже подписала им приговор. Я не могу больше сопротивляться.

Я молчала. Я не была рада — ни капли, ни на грош. Я не понимала, как можно отдать всю себя человеку, которого не любишь, ради торговой доли и чужих ожиданий. Но я видела её лицо и понимала, что спорить бесполезно: она уже приняла решение — от усталости, а не от счастья.

Эли слабо улыбнулась.

— Прости, — сказала она. — Я не хотела тебя расстраивать.

Она не поняла, что в этот момент я потеряла ещё одного человека.

Мы спустились с башни. Город спал. Только одинокие факелы мерцали на улицах, и где-то вдалеке выла собака.

— До завтра? — спросила Эли у развилки.

— До завтра.

Она ушла. Я осталась стоять под жёлтой луной, которая, я готова была поклясться чем угодно, всего минуту назад была синей. Я знала, что завтра в городе это назовут облаками, мороком, пылью, чем угодно, лишь бы не правдой. Ветер снова подул, но теперь он не казался злым. Он казался... другим. Ветер принёс незнакомый запах — острый, свежий, колючий. Я втянула воздух, пытаюсь понять, чем так пахнет.

Я подняла голову. Луна висела на прежнем месте — жёлтая, спокойная, будто ничего и не было. Я смотрела на неё долго, не отводя глаз, и уже начала придумывать для себя аргументы, что мне всё померещилось, как вдруг что-то холодное и лёгкое коснулось моего носа и тут же растаяло. Одна снежинка. Всего одна. Я поняла это сразу: капля дождя тяжёлая и мокрая, она стекает по коже и оставляет след, а это было колкое, острое, будто крошечная игла уколола и тут же исчезла.

Меня прошибло изнутри. Сердце рванулось куда-то вверх, дыхание перехватило, по спине прокатилась волна ледяного ужаса. Я не знала, чего именно боюсь, но страх был такой острый и настоящий, какого я не чувствовала уже давно. Я оглянулась: никто не видел? Потом осторожно коснулась носа. Кожа была влажной. Мне не померещилось — и от этого стало страшно.

А потом страх схлынул так же внезапно, как и пришёл, и на его месте поднялось что-то другое лёгкое, звенящее, почти пьяное. Воодушевление. Я запрокинула голову и засмеялась в пустоту, тихо и счастливо.

— Я ждала тебя, — прошептала я. — Мама, я ждала.

Где-то в глубине города зазвонили колокола. Ровный, размеренный бой, отбивающий последний час перед рассветом. Обычно я могла выходить одна, но на Холодную Луну отец каждый год запрещал мне даже приближаться к воротам. Я обещала остаться в комнате и всё равно ушла к Эли. Я вздрогнула и побежала, если он узнает, что я снова сбежала, то он снова приставит ко мне своего амбала стражника.

## Глава 2

Я пробежала мимо погасших лавок торгового квартала, свернула от площади к холму и подхватила юбку длинного плаща: камни под ногами пошли вверх, а шаги гулко отдавались между закрытыми ставнями. Луна всё ещё висела над городом, жёлтая и равнодушная, будто и не было той единственной снежинки, что растаяла на моём носу. Может, и не было. Может, мне почудилось. Я гнала эту мысль прочь.

Дом отца стоял на холме, за торговым кварталом, и его было видно отовсюду — высокий, каменный, с башнями по углам и тяжёлыми воротами, которые никогда не запирались, потому что зачем запирать дом человека, которого бояться все. Мой отец — Март, великий полубог, наместник этих земель, человек, чьё слово превращает пыль в золото, а золото в пыль. Светлорусые волосы он зачёсывал назад; у висков и в короткой бороде уже пробивалось серебро. На вид ему было около сорока пяти; высокий и прямой, он казался широкоплечим даже под тяжёлым придворным плащом. У него было длинное лицо с прямым носом и тяжёлыми веками. Он редко повышал голос: обычно хватало того, что он поднимал зеленые глаза на собеседника. Он благородный и справедливый, и именно поэтому его бояться ещё сильнее: справедливость без пощады страшнее любого произвола, но со мной он другой.

Со мной он терпеливо распутывает цепочку на моей шее, оставляет мне последний кусок пирога и слушает мои жалобы с такой серьёзностью, будто от них зависит судьба его земель. Я знаю, что могу натворить что угодно, и он накричит, и отчитает, и запретит что-нибудь важное, но простит — сразу, в тот же вечер, потому что он не умеет держать на меня зло дольше, чем длится закат. Именно поэтому, когда я провинилась по-настоящему в первый раз, он не стал кричать и отчитывать. Он просто приставил ко мне охранника — и с тех пор, стоило мне переступить черту, рядом со мной появлялся человек, который ходит за мной по пятам, хватается за шиворот, как нашкодившего котёнка, и тащит домой — даже если мне удаётся сбежать, даже если я прячусь на крышах, в подвалах, в телегах с сеном, меня все равно находили.

У меня были няньки и служанки, у меня были игрушки и книги, у меня было всё, кроме мира. Мир начинался за воротами, и туда мне было нельзя. Детей слуг приставляли ко мне в качестве товарищей по играм, но их родители, стиснув зубы, смирялись лишь потому, что не могли запретить дочери полубога с ними общаться. Я видела, как они отводят глаза. Я видела, как они уходят, когда я пытаюсь с ними заговорить.

Должно быть, со стороны я выгляжу избалованной принцессой, которой всё прощается. Так и есть. Мне всегда всё прощалось, и я это знаю, и я этим пользуюсь, потому что глупо не пользоваться тем, что само идёт в руки. Только иногда мне становилось стыдно от того, сколько чужой работы требовало моё удобство. Служанка несла воду, чтобы я могла умыться. Кухарка вставала затемно, чтобы к моему завтраку был горячий хлеб. Если я видела, что у кого-то заняты обе руки, старалась хотя бы открыть дверь, подхватить ведро или отнести посуду на кухню. Обычно меня просили оставить всё на месте. Однажды я всё-таки взялась чистить котлы. К вечеру ладони саднили, а на следующий день за ту же работу снова взялась кухонная девчонка — с руками, которым никто не давал передышки.

Я знала, как пахнет свежий хлеб. О том, сколько труда стоит поставить его на стол каждое утро, мне случалось забывать.

Друзей у меня мало. Почти нет.

Потому что у нас с отцом есть тайна, которую люди превратили в слухи. Они говорят, что я родилась в январе, что январь — запретный месяц, что тех, кто появляется на свет в январе, не должно быть среди людей, и что мой отец нарушил закон, оставив меня в живых. Вчера, когда луна чуть не стала синей, они наверняка решили, что это моя вина.

Я не могла усидеть на месте. Я хотела узнавать мир. Моя душа требовала приключений, а любопытство было сильнее страха. Я начала сбегать — сначала в тряпках служанок, на час, на два, просто чтобы послушать, как говорят люди на рынке, и узнать, чем пахнет торговый квартал. В шестнадцать я начала сбегать основательно, иногда на несколько дней. Позже я начала сбегать и во время наказаний. Сначала на час, просто назло приставленному стражнику, потом до самого вечера. Отец продлевал надзор. Я снова сбегала. Отец приходил в ужас. Он запирали меня дома и приставлял охранников. Я сбегала. Охранников стало десять. Я сбежала снова. Тогда он нанял профессионального стража — мага Гарена. В первый же день поставил его передо мной и сказал: — До конца месяца она за ворота не выйдет. Упустишь — ответишь головой.

Тот месяц я отсидела до последнего дня.

Не потому, что испугалась, а потому что не хотела, чтобы из-за меня убили человека. Стражника звали Гарен. Визуально ему было за сорок; высокий и широкий в плечах, с коротко остриженными тёмно-каштановыми волосами, поседевшими над ушами, он смотрел на меня серыми глазами так, будто уже знал, где я собираюсь перелезть через ограду. Нос у него когда-то сломали и срастили не совсем удачно. Из-за низких прямых бровей казалось, что он недоволен ещё до того, как ты успела что-нибудь сделать. Он не таскал меня за шиворот, как прежние охранники, он просто появлялся рядом — всегда, везде, — и смотрел на меня так, что мне становилось стыдно.

Во время наказаний я упрашивала его вывести меня хотя бы на рынок. Иногда он уступал: велел надеть неприметный плащ с капюшоном и держаться рядом. Я обещала, что никто не заметит. Он отвечал, что в последний раз верит моим обещаниям. Там я с упоением разглядывала прилавки, вдыхала запахи специй и рыбы, слушала чужую речь и чувствовала себя живой. Однажды я подошла рассматривать украшения, медные подвески, дешёвые, блестящие, и услышала разговор за соседним прилавком.

— Утаил январскую девку, держит её взаперти, а всем рассказывает, будто она мартовская, — произнёс первый голос, низкий и хриплый, будто его обладатель всю жизнь работал в шахте.

— Вот с тех самых пор урожай всё хуже и хуже.

— Дело в этой девке. Она беду накликает.

— А в прошлом году град побил половину полей — тоже её рук дело?

— Её, чьих же ещё. Пока она жива, покоя нам не будет.

— Слышал, она по ночам из дома выбирается? Пройдёт босиком по полю — утром там ничего не взойдёт.

— Если бы она мне на глаза попала, я бы сам её придушил. Нечего такой на свете жить.

Я держала медную подвеску между пальцами. Только что она казалась красивой; теперь мне хотелось положить её обратно, не звякнув о соседние. За прилавком никто не смотрел в мою сторону.

— И правильно. Все зимние — уроды страшные, ты бы её увидел — сразу понял бы. Недаром Март её от людей прячет, стыдно ему, вот и держит взаперти.

Я слушала. Я знала всё это с тех пор, как впервые услышала, как слуги шепчутся за моей спиной, и давно смирилась. Мне говорили, что я накликаю беду, что из-за меня сохнет урожай, что меня следовало убить ещё в колыбели, но я научилась носить это в себе, как носить камень за пазухой: тяжело, но привыкаешь.

Но что-то в этих словах задело во мне струну, о существовании которой я не знала. Меня задела даже не обвинения и угрозы, а то, что они сказали после: все зимние — уроды, и отец наверняка прячет меня от стыда.

Я знала, что у меня рыжие волосы, веснушки и нос, который мне самой не всегда нравился. Иногда я задерживалась перед зеркалом дольше, чем хотела бы признать: поправляла

косу, поворачивала голову, выбирала, с какой стороны выгляжу лучше. Мне хотелось быть красивой. Хоть для кого-нибудь.

Глупость, пустая глупость, и всё же я вдруг почувствовала, как что-то внутри оборвалось.

Я попыталась уйти куда глаза глядят, подальше от того прилавка, шла, глядя под ноги, и завернула в какую-то подворотню между домами, и там, в темноте, зарыдала — не из-за слухов, а из-за нахлынувшей жалости к себе.

Гарен нашёл меня через минуту. Я даже не услышала его шагов, просто почувствовала, как тяжёлая рука легла мне на плечо, и вздрогнула. Он держался на расстоянии, молчал и неизменно оставался где-то за спиной, не был для меня человеком. За месяцы его службы я привыкла к тому, что он не касается меня без нужды. А тут он обнял меня крепко, обеими руками, прижал к себе, как отец, и я замерла, не зная, что делать.

Он стоял так долго. Я слышала, как бьётся его сердце, и чувствовала, как дрожат его руки.

А когда он отстранился, я подняла глаза и увидела в них такую дикую, такую безысходную печаль, что мне стало не по себе. Он смотрел на меня так, будто услышал в том разговоре что-то своё, о чём никогда мне не рассказывал.

— Больше никогда, — сказал он тихо. — Я больше никогда не соглашусь на твои авантюры. И в город тебя не поведу. Не позволю тебе рисковать собой.

Я хотела возразить, но не смогла.

Остаток того наказания я провела в замке. Потом снова могла выходить одна — днём, с закрытыми волосами и без украшений. Вернуться следовало до вечернего колокола. Отец называл это осторожностью. Я — свободой, хотя бы такой. И вот сейчас, спустя несколько лет, я снова опаздывала.

Я перелезла через садовую ограду, прижалась к стене, обошла дом с задней стороны и почти добралась до окна своей спальни — окна на втором этаже, под самой крышей, где раньше росло дерево, но дерево спилили, когда я с него сбегала. Я подтянулась на водосточной трубе, перехватила руками и уже занесла ногу на подоконник, как вдруг за спиной раздался спокойный, ровный голос.

— Доброе утро, госпожа Клирбрук.

Я крепче обхватила трубу и посмотрела вниз. Гарен стоял под окном, скрестив руки на груди.

— Я... — начала я и посмотрела на свою ногу, занесённую на подоконник. Объяснять, что я просто гуляю, было поздно.

— Ты давно здесь? — спросила я, опуская ногу. — Достаточно, чтобы предложить лестницу. — И почему не предложил? — Вы выглядели уверенно, — сказал он. — Я жду вас здесь уже пару часов, Ваш отец обеспокоен. Служанки уже дважды входили в вашу спальню.

Я медленно сползла обратно на землю.

— Он приставил тебя ко мне, да?

— Отец велел мне ждать вас здесь, — кивнул Гарен. — Месяц, госпожа. Месяц вы не выйдете из замка.

## Глава 3

Первые дни наказания тянулись медленно, как патока. Я не выходила за ворота, не спускалась в город, не видела ни рынка, ни знакомых улочек. Гарен был рядом каждую секунду: утром, днём, вечером, даже когда я ложилась спать, он стоял за дверью моей спальни, и я слышала, как он переступает с ноги на ногу, охраняя мой сон. От скуки и злости я готова была лезть на стены.

А потом мне пришла в голову мысль.

— Научи меня драться, — сказала я однажды утром, когда мы сидели во внутреннем дворе и он молча чистил свой меч.

Гарен поднял на меня глаза.

— Нет.

— Почему?

— Потому что вам это не нужно. С кем собираетесь драться?

— Мне это нужно, — упёрлась я. — Ты сам сказал, что я вечно влипаю в неприятности. Научи меня выкручиваться.

Он долго смотрел на меня так, как умел только он, будто взвешивал что-то внутри себя, а потом вздохнул и отложил меч.

— Хорошо. Но если вы хоть раз пожалуетесь, что у вас что-то болит, я прекращу.

Я не пожаловалась ни разу.

Гарен вручил мне учебный клинок тяжёлый, неудобный, с затупленным краем, и показал стойку. Я встала. Он поправил мои руки, ноги, спину, и отошёл на шаг.

— Держите ровно, — сказал он. — Не заваливайте кончик.

Я завалила кончик через секунду.

— Не заваливайте, — повторил он.

Его ладонь почти целиком накрыла мою. Поперёк костяшек белели старые рубцы; ногти были коротко срезаны, один рос неровно. Меч в этих руках выглядел легче, чем в моих.

Я завалила снова.

Первая неделя была сплошным позором. Меч выскальзывал из вспотевших ладоней, руки дрожали к концу каждого движения, и каждый раз, когда Гарен нападал, я закрывала глаза и отступала. Он не ругал меня, он просто замирал, опускал клинок и смотрел. Этот взгляд был хуже любых слов. За эти дни я научилась одному: падать чуть менее болезненно. Всё остальное Гарен пока делал за меня, поправлял, удерживал, останавливал клинок.

Потом был лук. Тут дело пошло чуть лучше, я хотя бы видела цель, но тетива была по предплечью, оставляя красные полосы, и стрелы уходили в землю, в забор, в стену, куда угодно, только не в мишень. Гарен молча поправлял мне локоть и заставлял повторять, пока я не переставала чувствовать пальцы.

Мы занимались с кинжалами, переходили к рукопашной. Гарен учил меня падать, кувыркаться и выворачиваться из захватов. Я падала, вставала, снова падала. Иногда мне казалось, что тело моё сделано из чугуна, что оно не умеет учиться, что я никогда не смогу быть гибкой, но я продолжала заниматься утром и вечером, даже когда мышцы гудели, а на ладонях не оставалось живого места.

К концу второй недели я всё ещё ни разу не смогла достать Гарена мечом.

Мы стояли во дворе, серое декабрьское небо висело низко и давило сыростью, будто вот-вот пойдёт дождь, и Гарен, как обычно, отражал все мои удары с ленивой легкостью, будто играл с ребёнком.

— Вы держите меч, как метлу, — сказал он.

Я сжала зубы.

— Вы не двигаетесь, вы просто машете. Вы боитесь ударить по-настоящему.

Я промолчала.

— Может, вам лучше вернуться к вышиванию, госпожа? — он отбил мой выпад одной рукой, даже не сдвинувшись с места. — Пяльца, нитки, крестики. Глядишь, и толк выйдет.

— Замолчи, — процедила я.

— Или к куклам, — сказал Гарен, отбив мой выпад одной рукой. — Вы ведь принцесса.

Я так стиснула рукоять, что заболели пальцы. Теперь мне хотелось хотя бы раз достать его, пусть даже он снова скажет, что удар неправильный. Он делал это нарочно, я знала, что нарочно, но знание ничуть не помогало.

— Вы злитесь, — сказал он спокойно. — И перестаёте смотреть. В бою за это платят жизнью. Ещё раз. Не спешите. Вас убьют в первой же драке, и я даже не успею вытащить тебя за шиворот.

Гарен снова поднял меч. Он уже ждал моего удара — я видела это и всё равно не смогла остановиться.

Я заорала и бросилась на него с мечом.

Удар вышел яростный, но кривой — он ушёл в сторону, Гарен легко отскочил назад, и я уже видела его лицо, спокойное, насмешливое, как вдруг его нога поехала вбок, он потерял равновесие и с грохотом рухнул на землю.

Я опустила меч. Он ведь даже не задел моё лезвие.

Под его ногами, там, где только что была сухая утоптанная земля, блестела тонкая корочка льда.

Я засмеялась. Громко, звонко, во весь голос от облегчения, от злости, от того, что этот невыносимый человек наконец-то оказался на земле. Я смеялась и не могла остановиться, и мне было так хорошо, так легко, будто я сбросила с плеч камень.

Гарен не смеялся.

Он поднялся, отряхнул колени и посмотрел на меня так, что смех застрял у меня в горле.

— Никогда, — сказал он тихо. — Слышите? Никогда не показывайте свою магию. Держите себя в руках, что бы ни случилось. Здесь слуги. Здесь стены с глазами. Если кто-то увидит — вас казнят. Не посадят под замок, не отругают — казнят. Вы понимаете меня?

Я кивнула. Он смотрел на лёд слишком внимательно для человека, который только что приказал мне никогда его не создавать.

— Понимаю.

В этот момент дверь дома отворилась, и на пороге показалась служанка — молодая, светловолосая, с вечным испугом в глазах.

— Госпожа, — сказала она, кланяясь. — К вам пришли. Госпожа Эли. Она говорит, что принесла приглашение и хочет поговорить.

Гарен шевельнулся. Я краем глаза увидела, как он сделал шаг вперёд и наступил туда, где только что был лёд, резко, всем весом, втапывая его в землю, — и остался стоять на этом месте, не двигаясь.

— Иду, — сказала я.

Эли ждала меня в саду, у старой каменной скамьи. Светло-каштановые волосы были убраны в тугую косу, и вся она выглядела как-то иначе — собраннее, старше, будто за эти дни успела прожить год. Ее косу затянули так туго, что кожа у висков натянулась. Обычно Эли всё время убирала волосы с лица; теперь рука несколько раз поднималась по привычке и опускалась, ничего не найдя.

— Варвара, — она поднялась навстречу. — Я должна тебе сказать.

— Что случилось?

— Свадьба послезавтра.

Я задержала дыхание сильнее, чем это было необходимо.

— Послезавтра? Я думала, у нас есть время.

— Я тоже так думала. — Эли вздохнула. — Но Стеллен торопится. Его семья настаивает. Они хотят покончить с этим до конца месяца, и... — она замялась, — и сегодня последняя ночь, когда мы можем быть вместе. Последняя ночь нашей свободы. Я хочу её провести с тобой. Как раньше. Устроить девичник, посмеяться, поговорить до утра. Ты придёшь?

За садовой оградой ждал человек в цветах семьи Стеллена. Эли заметила, куда я смотрю, и стиснула мою руку. — Меня теперь везде сопровождают, — сказала она с улыбкой.

Я решила, что завтра её уже не отпустят ко мне. Я опустила глаза.

— Я наказана, — сказала я. — Отец приставил ко мне Гарена. Мне запрещено выходить за ворота.

— Как? — Эли нахмурилась. — Мы же расстались задолго до колоколов. Почему ты не пошла домой?

Я не стала рассказывать ей про снежинку. Про то, как я стояла под жёлтой луной и ждала, и как одна колкая, острая крупинка упала мне на нос и растаяла. Про то, что где-то глубоко внутри я до сих пор была уверена, что видела не облака, а нечто настоящее.

— Засмотрелась на рассвет, — сказала я. — Потеряла счёт времени. Глупость.

Эли вздохнула.

— Значит, мы даже не попрощаемся как следует? — в её голосе было столько горечи, что у меня сжалось сердце.

Эли теребила край приглашения. Я знала: если сейчас откажу, она улыбнётся и скажет, что понимает. От этого почему-то было ещё хуже.

— Ладно, — сказала я. — Что-нибудь придумаем. Я сбегу.

Эли просияла.

— Правда?

— Правда. Встретимся на вышке.

Она протянула мне приглашение — плотную картонку с золотым тиснением и вложила мне в руку.

— Держи. Приходи послезавтра. Обещай.

Она дважды постучала ногтем по уголку. Так она постукивала по нашим запискам ещё в детстве. Я посмотрела на приглашение: на нём были только нарядные строки о свадьбе. За оградой человек Стеллена окликнул Эли, и она поспешно отпустила мою руку. Я сунула приглашение в рукав.

— Обещаю.

Она ушла. Я смотрела ей вслед, пока её фигура не скрылась за воротами.

Гарен найдёт меня. Я знала это. Он всегда находил. Но я знала и другое: отец угрожал ему четыре года назад. С тех пор многое изменилось, говорила я себе. Гарен давно стал своим. Не станет же отец... Я оборвала мысль, не договорив. Мне слишком хотелось верить, что не станет... Тогда отец угрожал Гарену, но теперь ничего подобного не говорил. Я уцепилась за эту разницу. К тому же это была последняя ночь с Эли. Последняя ночь нашей свободы. После свадьбы всё изменится, и, возможно, я больше вообще не буду сбежать по ночам.

Ничего страшного не случится, если я сбегу один раз.

## Глава 4

Четыре года назад Гарен впервые увидел мой лёд.

Гарен тогда служил у отца всего месяц, и я ещё не привыкла к тому, что он везде ходит за мной тенью. Он почти не разговаривал со мной и не отвечал на вопросы, если их можно было проигнорировать. Я привыкла видеть его в нескольких шагах за спиной.

В тот день мы гуляли по территории замка. Точнее, гуляла я, а он шёл следом. Ворота были открыты, привозили продукты, и через них было видно улицу, людей, чужую жизнь, которая текла без меня. Я подошла ближе, просто чтобы посмотреть, и увидела его.

Сын кухарки. Дэррил — так его звали. Ему было шестнадцать, как и мне, и он был единственным человеком в замке, кроме Эли, который не избегал меня. У него были белоснежные кудри, которые он постоянно отбрасывал со лба, и чуть выступающий передний зуб. Из-за этого улыбка казалась мальчишеской даже тогда, когда он старался выглядеть взрослым. Я замечала этот зуб чаще, чем следовало. Он улыбался мне, когда мы встречались на кухне, приносил мне тёплые булочки, когда я сидела в саду, говорил мне комплименты так неуклюже и так искренне, что я краснела и не знала, куда девать глаза. Я думала о нём вечерами. Я ждала этих случайных встреч. Я позволяла себе надеяться на что-то, чему даже не могла придумать названия.

А в тот день я увидела, как он целуется с другой девочкой.

У самых ворот. Прямо на улице, никого не стеснясь. Он держал её за талию и наклонялся к её губам, и она смеялась, и он смеялся, и они были так счастливы, так естественны, будто весь мир принадлежал им, а я была всего лишь случайной прохожей, которая смотрит сквозь щель в заборе на чужой праздник.

Я отошла к стене и прислонилась к ней, моя рука коснулась холодного камня, а внутри всё сжалось в один тугой комок, обида, унижение, злость, которую я не имела права испытывать, потому что он мне ничего не обещал, ни один живой человек мне ничего не обещал, и этот комок вырвался наружу.

Камень под моей ладонью начал покрываться инеем.

Это было красиво. Тонкая, ажурная сетка, как морозное кружево на стекле, расплзалась от моей руки в стороны, и лёд тихо потрескивал, нарастая слой за слоем. Я смотрела на него и не понимала, что происходит, а когда поняла было уже поздно.

Гарен схватил меня за запястье и рванул мою руку от стены.

Я вскрикнула. Он держал меня крепко, так крепко, что я чувствовала, как его пальцы впиваются в кожу, и смотрел на меня такими глазами, каких я не видела ни у кого и никогда. В них был страх. Настоящий, животный, ледяной страх, и я знала, что в моих глазах он точно такой же.

Мы стояли и смотрели друг на друга. Никто не решался заговорить.

Я знала, что теперь будет. Я знала это с семи лет, с того дня, как отец посадил меня перед собой и сказал: «Варвара, слушай внимательно. То, что ты умеешь, — это не дар. Это приговор. Если кто-то узнает, что ты делаешь лёд, если кто-то поймёт, кто ты на самом деле, то убьют не только тебя. Убьют меня. Убьют твою мать. Убьют всех, кто тебя защищал. Ты поняла меня? Никогда. Никому. Ни слова, ни знака, ни взгляда». И он надел мне на шею тяжелый серебряный кулон с тёмным камнем в оправе, и с тех пор я не снимала его никогда, даже купаясь, даже ложась спать, даже когда он натирал мне шею до красноты.

Кулон гасил мою магию. Полностью, надёжно, до шестнадцати лет ни разу, ни единого раза она не прорвалась наружу.

А потом мне исполнилось шестнадцать.

Чувства стали сильнее. Слишком сильными. Я могла держать себя в руках, когда была спокойна, и почти всегда держала, но, когда что-то задевало меня по-настоящему, обида, рев-

ность, боль, кулон не справлялся. Магия шла сквозь него, как вода сквозь треснувший кувшин, тоненькими струйками, и я ничего не могла с этим сделать.

Гарен пришёл в себя первым.

Он резко выбросил руку в сторону стены, я почувствовала, как воздух вокруг нас дрогнул, как будто кто-то невидимый выдохнул, и тёплая волна ударила в камень. Лёд зашипел, растаял и потёк вниз тонкими струйками воды, исчезая в трещинах между камнями. Через минуту от кружева не осталось и следа.

Он не выпустил моё запястье.

Он потащил меня вглубь замка, быстро, так быстро, что я спотыкалась, а я шла за ним, потому что не знала, что ещё делать.

Я хотела заговорить. Я хотела объяснить, что это не я, что ему показалось, что это был просто иней, утренний иней, всякое бывает, что кто-то другой, что меня подставили, что я не знала что. Слова застревали у меня в горле, и я открывала рот, как рыба, выброшенная на берег.

Гарен услышал мою первую попытку и резко шикнул на меня, и я замолчала.

Я думала, что он тащит меня сдавать отцу, страже или прямо совету. Я думала, что он войдёт в зал и объявит: «Смотрите, кого вы прятали все эти годы. Ледяная ведьма. Зимнее проклятие. Та самая, из-за которой сохнет урожай».

Я не знала, стоит ли вырываться. Он был вдвое больше меня и в сто раз опытнее. Я только спотыкалась и пыталась угадать, куда он меня ведёт.

Гарен остановился.

Мы стояли у маленькой двери в дальнем конце коридора, там, где я никогда не бывала, и он открыл её, затолкал меня внутрь и громко хлопнул дверью.

Комната была крошечной. Кровать, стол, стул, сундук у стены, огарок свечи на подоконнике. Я поняла, что это его комната. Я никогда здесь не была, но это была его комната, и я вжалась в угол, потому что не знала, что теперь будет.

Он убьёт меня? Он будет пытаться? Он будет шантажировать? Заставит что-то делать, потребует денег, потребует моё тело, потребует молчания в обмен на что-то, чего я не смогу дать?

Я перебирала в голове варианты один хуже другого, и ни один из них не был тем, что я слышала.

— Повтори, — сказал Гарен.

— Что?

— Повторите, — повторил он. — То, что вы сделали у стены. Повторите.

Из всего, чего я успела испугаться, этого в списке не было.

— Я... не могу, — выдавила я. — Я не контролирую это. Оно само. Я ношу кулон, он должен гасить магию, но, когда я сильно волнуюсь... — я замолчала, поняв, что сказала слишком много, но отступить было поздно. — Оно выходит само. Я не умею это вызывать.

Гарен молчал. Он не двигался, не подходил, не смотрел на меня как на чудовище. Он просто кивнул.

— Кто знает? — спросил он.

Нужно было соврать. Я смотрела в пол, но придумать ложь, которую Гарен не распознал бы сразу, не могла.

— Нянечка, — сказала я наконец. — Служанка, которая была со мной с детства. Мать знала. Отец. — Я подняла глаза. — И теперь ты.

Он кивнул во второй раз.

Гарен подошёл к двери и прислушался. В коридоре было тихо. Только тогда он повернулся ко мне.

— Каждую неделю, — произнёс он. — Здесь. Я буду проверять, как вы держите себя в руках. Вы должны научиться это контролировать, иначе погубите и себя, и тех, кто вас покрывает. Меня в том числе.

Я смотрела на него и не верила своим ушам.

— Ты... не расскажешь?

— Кому? — он усмехнулся, но в этой усмешке не было ничего весёлого. — Твоему отцу? Он меня убьёт за то, что я знаю. Страже? Они убьют вас. Совету? Они убьют всех. Я не идиот, госпожа. Я хочу жить.

Он отвернулся, подошёл к столу и зажёл свечу.

— Приходите в четверг, — сказал он, не глядя на меня. — После заката. И не вздумайте пропустить.

Наказание закончилось, а по четвергам я продолжала приходить. Отец больше не приказывал Гарену следить за мной. Гарен всё равно спрашивал, где я была и что опять натворила. Теперь я могла не отвечать. Почему-то отвечала. С того дня он стал другим. Не охранником, не тенью, не молчаливой мебелью, а кем-то, кого я до сих пор не умею назвать. Он хмурился, когда я делала глупости. Он учил меня держать спину ровно, когда я злилась. Он не скупился на выговоры за несдержанность и хвалил так скупое, что каждое его «неплохо» я помню наизусть.

Он стал моим лучшим и единственным хмурым другом.

И вот сегодня, стоя в своей комнате с приглашением Эли в рукаве, я собиралась его предать.

Я сбегу ночью. Я знала это. Я уже всё решила.

## Глава 5

План был простой, настолько простой, что я почти гордилась собой.

С начала наказания Гарен каждую ночь дежурил у моей двери. Я знала это точно: стоило мне встать среди ночи, чтобы попить воды, как я слышала, как он переступает с ноги на ногу, как скрипит под ним половица. Через дверь выйти было нельзя. Оставалось окно.

Окно было узкое, под самой крышей, и раньше, когда дерево ещё росло под ним, я спускалась по веткам. Теперь дерева не было, но я была не той девочкой, что десять лет назад. Я умела падать.

Я дождалась, когда дом затихнет. Отец обычно ложился поздно, он сидел в кабинете с бумагами до полуночи, а служанки расходились по своим каморкам сразу после ужина. Я лежала в темноте, считая удары своего сердца, и ждала, ждала, ждала, пока последние шаги не стихнут в коридорах.

Потом встала.

Первым делом я подошла к двери и прислушалась. За ней было тихо. Слишком тихо. Я наклонилась к щели под дверью и увидела тень. Гарен стоял там. Стоял, как всегда, не двигаясь, не дыша, будто был не человеком, а изваянием.

Я отошла и принялась за дело.

Я связала простыни, одеяла и покрывало с кровати в длинную верёвку — узлы выходили кривыми и скользкими, но я затягивала их так крепко, как могла, и молилась, чтобы они выдержали мой вес. Когда я закончила, верёвка оказалась короче, чем я рассчитывала. Значительно короче. Я смотрела на неё и понимала, что до земли не дотяну.

В плане всё сходилась. Простыни оказались менее стоворчивыми.

Ну и ладно.

Я привязала конец к ножке тяжёлой кровати, перекинула верёвку через подоконник и выглянула наружу. Двор был пуст. Никаких теней под окнами, никакого Гарена, никаких собак. Только жёлтая луна висела над крышами, равнодушная ко всему на свете.

Я перебралась через подоконник. Руки дрожали, и я спускалась медленно, перехватывая узел за узлом, пока верёвка не кончилась. До земли оставалось чуть больше моего роста. Я висела, глядя вниз, и считала вдохи.

Раз. Два. Три.

Я разжала руки.

Падение длилось мгновение. Я приземлилась на корточки, пружиня ногами, но всё равно не удержалась, повалилась на бок и покатила по земле. И в этот момент под моей ногой что-то хрустнуло. Громко. Так громко, что я замерла, вжавшись в землю и прислушиваясь.

Тишина.

Я поднялась и побежала.

Через сад, через задние ворота, которые я предусмотрительно не заперла ещё днём, по знакомой обходной тропе вдоль городской окраины. Ветки хлестали меня по лицу, корни хватали за ноги, но я бежала так быстро, как могла, потому что знала: Гарен уже понял. Он всегда понимал, даже через дверь, даже сквозь сон.

Я добежала до водонапорной башни запыхавшаяся, с горящими лёгкими и разбитыми в кровь коленями. Взобралась по скрипучей лестнице на крышу и села у края, свесив ноги, как мы всегда делали с Эли.

И стала ждать.

Луна висела на прежнем месте жёлтая, огромная, тяжёлая. Я смотрела на неё и думала о том, что было здесь пару недель назад, и всё ловила себя на ожидании: вдруг она снова станет синей.

Произошло ли это вообще? Может, мне показалось? Может, я просто устала, замёрзла, не выпалась, и всё это было игрой воображения? Я смотрела на луну, и она молчала. За эти две недели ничего не изменилось. Ветер был всё такой же злой, пыль всё такая же колючая, зимы всё так же не было. Только во мне что-то сдвинулось с места, и я не знала, что с этим делать.

Я прождала час. Потом второй.

С крыши была видна вся лестница. Каждый раз, когда внизу раздавались шаги, я перегибалась через край, ожидая увидеть то Эли, то Гарена. Люди проходили мимо башни и скрывались за поворотом. Никто не поднимался ко мне.

Эли не пришла.

Зато Гарен тоже не пришёл. Это было единственное хорошее в этой ночи. Поначалу. Чем дольше я сидела одна, тем чаще прислушивалась к лестнице.

Я спустилась с башни и пошла по направлению к дому Эли. Может, она задержалась, может, ещё идёт. Мы встретимся по дороге, посмеёмся над моей паникой, и всё будет как раньше.

Дом Эли стоял в конце улицы, приземистый, с тёмными окнами. Я подошла ближе и остановилась. В окнах не горело ни свечи, все спали. Я постояла, глядя на тёмные стёкла, и внутри у меня начало подниматься что-то злое, горькое.

Она забыла.

Я сбежала. Я предала Гарена, человека, который четыре года прятал меня, учил меня, смотрел на меня так, будто знал обо мне всё и всё равно оставался рядом, и сделала это ради неё. Ради последней ночи, последнего девичника, последнего раза, когда мы можем быть вместе. А она забыла...

Зачем я вообще это сделала?

Я развернулась и зашагала прочь, не разбирая дороги, не думая, куда иду. В голове было пусто и зло. Я завернула в ближайшую темную узкую подворотню, пропахшую мочой и гнилым деревом, присела на корточки у стены и обхватила колени руками.

И тут я вспомнила про приглашение.

Оно всё ещё лежало у меня в складках плаща, я сунула его туда второпях, собираясь бежать. Я достала плотную картонку и принялась крутить её в пальцах. Золотое тиснение поблёскивало в тусклом свете, и я, прищурившись, прочитала стихи, написанные аккуратным писарским почерком.

«Приглашаем вас разделить с нами радость соединения двух сердец, связанных судьбой и волей богов...»

Я усмехнулась: судьба, воля богов, два сердца — как красиво они всё называли. Я вспомнила лицо Эли, когда она говорила про Стеллена — «я его почти не знаю», — и её вздох, и то, как она сказала: «Он не злой, кажется». Никакой любви там не было. Никаких сердец. Был расчёт, была нужда, была усталость и всё это завернули в красивые слова, чтобы никто не догадался, что внутри пусто.

Мне вдруг стало горько. Как вообще люди находят любовь? Как они умудряются встретить кого-то, кто смотрит на них так, как смотрел на ту девочку Дэррил? Я думала о себе и не находила ответа. Когда-то мне казалось, что однажды он посмотрит так и на меня.

Я встала, решив прогуляться одна. Хотя раз за эту ночь сделать что-то для себя, раз уж всё равно всё пошло прахом.

Приглашение выскользнуло у меня из пальцев и упало вниз.

Я даже не сразу поняла, куда именно, а потом увидела маленькую лужу под стеной, тёмная, с радужными разводами по краям. Пролитый эль. Кто-то вылил остатки, и теперь моё приглашение лежало в этой грязи, впитывая вонючую жижу.

— Проклятье, — выругалась я и присела, чтобы его поднять.

Я уже взялась за уголок, когда заметила под золотым тиснением тёмный штрих. Потом ещё один.

По мокрому картону, сквозь золотое тиснение, сквозь стихи о двух сердцах, проступали буквы. Я знала эти буквы. Я знала этот почерк. Мы с Эли писали друг другу настоем бледнокорня. Высохнув, он исчезал, а стоило намочить бумагу, то буквы проступали снова. Так мы с Эли прятали от взрослых наши маленькие заговоры.

Огромные буквы на лицевой стороне, поверх стиха, гласили:

**НЕ ПРИХОДИ**

У меня перехватило дыхание. Наш старый знак. Она ведь постучала по приглашению, а я решила, что Эли вспоминает наши детские игры. Не приходи — куда? На свадьбу? На башню? Я уже побывала там. Значит, могла опоздать с предупреждением.

Эли не забыла о встрече. Она пыталась меня предупредить, пока за оградой ждал человек Стеллена. Я вспомнила, как она улыбнулась, когда я обещала сбежать. Неужели ей пришлось улыбнуться, чтобы он ничего не заподозрил?

Меня ждали.

Значит, я предала Гарена — и ради чего? Ради того, чтобы попасть в чужую западню.

Я вскочила. Накинула капюшон как можно глубже, натянула его на самые глаза и быстро зашагала в сторону дома. Ноги дрожали, сердце колотилось где-то в горле, и я считала шаги, чтобы не сорваться на бег, бег всегда привлекает внимание, а мне нельзя было привлекать внимание.

Нужно домой, пока не поздно.

Я почти вышла из подворотни, когда на моё плечо опустилась тяжёлая рука.

Первая мысль была — Гарен. Он нашёл меня. Он всегда находил. Сейчас он отругает меня, потащит домой, и я буду счастлива, я буду так счастлива, что он меня нашёл, что всё обошлось, что это просто Гарен.

Я обернулась.

И тут же что-то тяжёлое, твёрдое обрушилось мне на голову.

Мир потемнел.

## Глава 6

Я не отключилась.

Перед глазами потемнело. Я перестала видеть нападавшего, но слышала его дыхание и скрежет собственного каблука по камню. Значит, ещё не потеряла сознание. Я ухватилась за тонкий лучик света и не отпускала его. Я держалась за него изо всех сил, потому что понимала: если отпущу — всё закончится.

Второй удар прилетел в живот.

Воздух вышел из меня весь сразу, будто из проколотого мешка, и я согнулась пополам, скрючилась на земле, хватая ртом грязь. Боль накатила волной, сначала тупая, потом острая, потом снова тупая, и меня замутило так, что я едва не вывернулась наизнанку.

Надо мной наклонился парень. Я не знала его лица. Совсем молодой. На подбородке воспалился порез после бритья. Он разглядывал меня, пока я пыталась вдохнуть, и нетерпеливо переставлял ногу.

— Привет, ледяная тварь, — сказал он.

Я попыталась отползти. Руки не слушались, пальцы скребли по камню, но тело было чужим, ватным, тяжёлым. Я попыталась закричать и не смогла, из горла вырвался только сиплый стон. Сознание помутилось, всё плыло, и человек, ударивший меня, кружился у меня перед глазами, расплывался, как отражение в тревожной воде.

Подошли ещё двое.

— А я говорил: придёт одна. — Два часа за ней таскаемся. Мог бы раньше сказать, что стража не будет.

— Ну что, добиваем? — спросил первый, тот, что стоял ближе.

— Не здесь, — отозвался второй, постарше и осторожнее. — Велено доставить её за город. Живой.

— Сам с ней возиться будет?

— Заказчик. Заплатил за живую — живую и получит. Что сделает потом, не наше дело.

— Значит, волочём её к нему.

— Значит, волочём.

Они говорили обо мне так, как говорят о мешке с зерном или о сдохшей собаке, и от этого было больнее, чем от удара в живот. Я лежала на холодной земле и слушала, как решается моя судьба, и ничего не могла сделать.

Один из них снова ударил меня по спине, наотмашь, чтобы не дёргалась, и меня накрыло волной тошноты. Я слышала их смех, слышала ругательства, слышала, как третий, самый молодой, стоявший чуть в стороне, говорил что-то злое и грязное про январских, про мою мать, про моего отца.

А потом он шагнул вперёд.

Он отбросил волосы со лба, и я узнала это движение раньше, чем разглядела лицо. Дэррил.

Сын кухарки. Мальчик, из-за которого я четыре года назад заморозила стену, потому что не могла смотреть, как он целуется с другой. Теперь в его руке был кинжал.

— Ты, — выдавила я. Голос не слушался, но я всё равно говорила. — Ты... зачем?

Дэррил наклонился надо мной. Так близко, что я видела каждую чёрточку его лица и в этом лице не было ничего от того мальчика, которого я помнила. Ни улыбки, ни тепла, ни доброты.

— Зачем? — выдавила я. — Зачем ты это делаешь?

Дэррил криво усмехнулся — Ты думала, я к тебе по-настоящему? Думала, что я на кухню хожу ради твоих глаз?

Я молчала.

— Ты бесила меня всегда, — сказал он. — С самого детства. Ты заходила на кухню, болтала с нами, бралась за чужую работу. Один день котлы почистила — и тебе стало стыдно за слуг. А на следующий день могла не приходить. Моя мать не могла. Ты играешь в бедность, а мы в ней живём.

— Я никогда так не думала, — прошептала я.

— Знаю. Ты вообще о нас не думала, когда уходила. — Он наклонился ближе. — Из деревень каждый день приезжали просить зерна. Урожай опять пропал. У людей дети голодные, а ты на кухне выбирала себе горячую булочку и спрашивала, не нужна ли помощь. Попробуй объясни им, какая ты добрая.

Я вспомнила руки его матери, красные после горячей воды. Вспомнила булочки, которые он сам приносил мне в сад. Тогда я не спрашивала, что осталось для него дома. Мне захотелось сказать ему это сейчас, но он не дал.

— Без твоего отца весна не придёт. Это все знают, даже те, кто ненавидит его дом, — сказал Дэррил. — А тебя можно. Стоит кому-нибудь произнести «январская», и у людей уже есть ответ, почему поле пустое.

— Ты сам в это веришь?

— Я верю, что ты ела досыта, пока другие голодали. А сегодня мне заплатили столько, сколько моя мать не заработает за всю жизнь.

Он говорил о голоде и о деньгах так, будто одно оправдывало другое. Я не знала, что возразить.

— Не думала? — он наклонился ближе. — А я видел. Я всё видел. В тот день, у ворот, я видел, как стена под твоей рукой покрылась льдом.

Я вспомнила, как он отбрасывал со лба белые кудри. Тогда мне казалось, что он даже не заметил меня у стены.

У меня остановилось дыхание.

— Ты... ты видел?

— Видел, — отрезал он. — И я сразу понял, кто ты. Мерзкая, гнилая январская тварь. Такая же, как все остальные из вашего проклятого племени.

— Почему же ты молчал? — я едва дышала. — Если ты всё знал, почему не донёс?

— Потому что мне было выгодно молчать, — он почти кричал. — Пока я молчал, я ел с вашего стола, брал ваши подачки и улыбался тебе в лицо, но теперь всё иначе. Теперь мне заплатили. Заплатили больше, чем я заработал бы за десять жизней, за то, чтобы я помог тебя найти. И я сделал это. С радостью.

Он поднял кинжал.

Я смотрела на лезвие и чувствовала, как во мне поднимается что-то, чему я не знала названия. Не страх. Не злость. Что-то глубже, что-то древнее, что-то, что жило во мне с рождения и всё это время спало под серебряным кулоном на моей шее.

— Ты должна сдохнуть, — сказал Дэррил, занося руку. — Ты и все твои зимние собратья. Вы проклятье этого мира. Вы — зима, которая никогда не должна была прийти.

Он начал опускать кинжал.

— Живой, дурень! — старший схватил его за локоть. Дэррил выдернул руку. — Хватит мне указывать! — Дэррил снова замахнулся.

И я выпустила ледяную бурю.

Я не думала. Я не знала, что делаю. Оно само, как тогда, у стены, только в тысячу раз сильнее. Волна холода вырвалась из меня, как выдох, и воздух вокруг взорвался кристаллами. Острые, беспощадные льдины полетели во все стороны, и в одно мгновение, короче удара сердца — все трое застыли на месте.

Они не успели даже вскрикнуть.

Ледяной куб вырос вокруг них, огромный, прозрачный, сверкающий в свете жёлтой луны, и внутри него, в толще синеватого льда, замерли три фигуры: один с поднятой рукой, второй с открытым в крике ртом, третий в позе человека, который пытается отступить, но уже не может.

Дэррил застыл с занесённым кинжалом. Я успела увидеть, что на его лице было не торжество, а удивление.

Я лежала на земле и смотрела на то, что сделала.

Лёд не таял. Он стоял, огромный и недвижимый, и в нём, как в музее, хранились три человека, которых я только что убила или не убила, я не знала, я не понимала, я ничего не понимала.

Я попыталась встать. Тело слушалось плохо, но всё же слушалось. Я поднялась на колени, потом на ноги, пошатнулась, оперлась о стену и посмотрела на дело своих рук.

Что теперь?

Если я попробую их разморозить, то они очнутся и убьют меня. Если я оставлю их здесь, то это огромная ледяная улика. Огромная. Кто в этом городе умеет делать лёд? Кто в этом городе вообще связан с холодом? Злая январская ведьма. Вроде слухи только обо мне одной. Вроде все и так знают, что я накликаю беду. Первое, что они подумают, — это она.

Я могла умереть сейчас. Могла остаться здесь, сесть у этого куба и ждать, пока кто-нибудь придёт и сделает то, что не успел сделать Дэррил.

Или я могла умереть через пару дней.

Я выбрала второе.

Я сорвалась с места и побежала домой. Я должна рассказать ему всё. Он должен быть готов. Завтра к его дому придут озверевшие крестьяне. Придёт совет. Придут все, кто годами ждал повода. Придёт конец.

Я бежала через тёмные улицы, спотыкаясь, падая, поднимаясь. За каждым поворотом мерещились шаги. Отец должен узнать от меня — раньше, чем к воротам придут остальные. Я всё испортила, и теперь за это заплатят все, кого я люблю.

## Глава 7

Я добежала до дома на последнем дыхании. Тело горело, каждый шаг я делала сквозь боль.

Ворота были открыты, как всегда, но что-то в них было не так. Я не сразу поняла, что тишина. Обычно даже ночью замок жил: где-то скрипела дверь, кто-то переставлял посуду на кухне, стража переговаривалась у ворот, служанки шаркали по коридорам. Сейчас было тихо. Так тихо, что я слышала собственное сердце.

Я влетела в дом. На лестнице пришлось остановиться. Под рёбрами резало, перед глазами расплывались ступени.

— Гарен! — крикнула я. — Гарен!

Никто не ответил.

Я побежала по коридорам, заглядывая в каждую дверь, в каждую нишу, в каждую комнату, где он мог быть. Его каморка была пуста, постель не смята, свеча погасла давно, оружие на месте. Я обыскала кухню, караульную, конюшню, даже подвал. Никого.

Я надеялась, что он выскочит откуда-нибудь из-за угла, схватит меня за плечо, накричит, отчитает, скажет, что я безмозглая дура, что я чуть себя не убила, что он всё видел и всё знает, а потом поможет. Растопит этот проклятый куб. Придумает, как быть. Скажет, что всё обойдётся.

Но его не было.

И тут я поняла второе. Прислуги тоже не было.

Я заметила это не сразу, не до того было, но теперь, стоя посреди тёмного коридора, я поняла, что в доме нет ни одной живой души. Ни служанок, ни поваров, ни стражников, ни конюхов. Всё было брошено. Где-то на кухне ещё тлели угли в печи, на столе лежал недорезанный хлеб, в одной из комнат горела свеча, догоревшая до самого основания. Похоже, все ушли в спешке.

Разбираться было некогда.

Я пошла к отцу.

Он сидел в кресле у камина, в котором не было огня. Комната тонула в темноте, и только тонкая полоска света от луны падала на его лицо. Ворот был расстёгнут, одна прядь упала на лоб. Обычно отец поправлял волосы, даже не замечая этого. Сейчас так и сидел. Он выглядел очень уставшим, так уставшим, что я впервые за всю жизнь увидела, что он старше, чем кажется. Плечи опущены, руки лежат на подлокотниках, пальцы сцеплены. Он не удивился, когда я влетела. Даже не поднял глаз.

— Сядь, — сказал он. — Слушай.

— Отец, я должна тебе сказать... На улице остался лёд. Там были люди.

— Сядь, — повторил он. — Слушай.

Я села. Он посмотрел на кровь у моего виска. Пальцы на подлокотнике сжались. Я ждала, что он спросит, кто меня ударил. Он не спросил.

— Завтра во время суда я буду ходатайствовать о том, чтобы тебя изгнали, — произнёс он ровно. — Не уверен, что у меня получится, но я сделаю всё, чтобы тебя изгнали.

У меня расширились глаза.

Изгнание. Самое страшное наказание в этом мире, хуже смерти. Мне изгнание казалось страшнее казни. Отец, очевидно, считал иначе.

Смерть — это просто. Смерть даёт тебе возможность умереть быстро, попрощаться с родными, знать, что тебя ждёт, лечь и закрыть глаза. Смерть — это конец. А изгнание — это не конец. Это клеймо навсегда. Тебя не примут ни в одном городе, никто с тобой не заговорит, никто не подаст воды, никто не пустит переночевать. Каждый, кто увидит твоё лицо, захочет

убить за деньги, за славу, за удовольствие. Скитание без дома, без имени, без права на слово. Даже близкие не имеют права сказать тебе хоть слово. Даже отец и Эли не смогут со мной заговорить. Если встречу их на дороге, они должны будут пройти мимо.

Я — принцесса, которая спала на мягкой кровати, ела каждый день досыта, носила красивые платья и купалась каждый божий день. За воротами меня не защитят ни этот дом, ни имя отца.

А главное для меня не было наказания страшнее, чем молчание. С детства все боялись меня и детям запрещали со мной общаться, но они не имели права молчать. Они обязаны были отвечать, обязаны были кланяться, обязаны были говорить «да, госпожа», «нет, госпожа». Я ненавидела это, но это было хоть что-то, а теперь у меня отнимали и это.

— Нет, — я вскочила. — Нет, нет, нет. Ты бог. У тебя есть власть. Договорись с кем-нибудь. Дай взятку. Пусть меня убьют. Я не готова к изгнанию. Я не выживу. Лучше смерть.

Отец вскочил и ударил кулаком по столу. Прежде чем поднять руку, он отвёл взгляд. Я решила, что он больше не хочет меня слушать.

От удара по комнате полетела волна тёплого воздуха, я почувствовала её кожей, и меня сбило с ног, отбросило назад, усадило на стул. Я попыталась встать и не смогла: невидимые браслеты сковали мои руки, прижали их к подлокотникам.

Я потянула запястья к себе. Напрасно.

— Папа?

Отец никогда не применял ко мне магию.

— Завтра, — повторил он, чеканя каждое слово, — я буду ходатайствовать о твоём изгнании. Это не обсуждается.

Он подошёл ко мне и повесил мне на шею ещё один маленький, гладкий кулон, синий, как зимнее небо. Внутри, под прозрачной оболочкой, я разглядела оранжевый листик клёна.

— Это поможет тебе найти своё место, — сказал он.

— Какое место? — прошептала я. — Если меня изгонят, меня не примут ни в одном доме. Я умру смертью собаки. Голодная, больная, где-то в лесу. Никто даже не похоронит меня.

— Заткнись, — отрезал он.

Он запнулся, будто собирался сказать что-то ещё, и сжал губы.

— У нас мало времени. Согрей кулон в ладони. Он покажет путь.

Я замолчала.

Сегодня он был другим. Это был не тот отец, который смеялся, когда я падала, и поднимал меня, когда я плакала. Не тот, который прощал мне всё ещё до заката. Сегодня я увидела то, что видели все остальные. Сегодня я увидела, почему его боялись, почему его имя произносят шёпотом, почему враги оглядываются, прежде чем сказать «Март».

Я ведь ещё не рассказала ему ни про Дэррила, ни про ледяной куб. Откуда он знал?

— Тебе нужно найти базу зимних, — продолжил отец. — Зимние месяцы живы.

Я уставилась на него.

— Что?

— Декабрь, январь, февраль. Они живы. И они обязаны принять тебя, обучить и защитить. Это их долг перед тобой и передо мной. Если они откажутся — покажи им кулон, который я тебе дал. Они поймут.

— Ты всё это время знал, что они живы?

Зимние месяцы живы? Они обязаны меня принять? Куда идти? Кого искать? Как найти людей, которых нет ни на одной карте? Как найти людей, которых, я думала, убили больше 50 лет назад?

— Отец, я...

— Ты хочешь задать миллион вопросов, — перебил он. — У тебя их будет миллион, но времени нет. Слушай меня.

Он снял с пальца серебряное тяжелое кольцо с большим изумрудом, который тускло блистал в лунном свете, и надел мне на большой палец. Кольцо было огромным, болталось, но почему-то не спадало.

Потом он наклонился. Его рука легла мне на затылок, но несколько мгновений он только стоял так, ничего не говоря. Затем поцеловал меня в лоб и прижался своим лбом к моему так близко, что я видела каждую морщину на его лице.

— Если тебе будет очень тяжело, — сказал он тихо, — всегда помни: лёд внутри тебя может треснуть, расползтись паутинкой боли, но не решай сразу, что это конец. Даже если тебе будет казаться, что дальше ты не можешь. Поняла меня?

Я кивнула, хотя не поняла ничего.

Он выпрямился, махнул рукой и невидимые браслеты исчезли. Я почувствовала, как руки снова стали моими.

А потом отец превратился в тонкий ручей и утёк в щель под дверь.

Я осталась сидеть одна в тёмной комнате, с двумя кулонами на шее, с огромным кольцом на пальце, с мокрым от слёз лицом, и в голове билась одна и та же мысль.

Что это было? И что мне теперь делать?

## Глава 8

Я просидела в темноте около получаса.

Не знаю, сколько точно. Время исчезло. Были только слёзы, сопли, тёмная комната и тишина, такая плотная, что казалось, будто она давит на плечи. Я пыталась представить завтрашний день и каждый раз останавливалась на воротах. За ними ничего не получалось придумать. Была просто боль. Боль и понимание, которое я не могла объяснить словами, но знала точно: отец попрощался со мной навсегда.

Завтра он настоит на моём изгнании. И после этого не сможет сказать мне ни слова. Ни он, ни кто-либо другой. Я уйду в никуда, разрушу свой привычный быт, буду пытаться выжить в лесу, пойду туда, куда укажет кулон, если он вообще укажет. Как им пользоваться, я не понимала. Я вообще ничего не понимала.

Вся моя жизнь летела к чертям. И самое главное я знала, что виновата в этом сама.

Наконец я встала.

Слёзы высохли, оставив на лице стянутую соль. Я подошла к умывальнику, плеснула воды в лицо, вытерлась рукавом, потом огляделась. В маленьком зеркале над умывальником лицо казалось незнакомым. Веснушки проступили отчётливее на бледной коже, глаза покраснели. Я провела пальцем по переносице — на ней ещё оставалась грязь.

Надо было собрать еду и вещи — столько, сколько смогу унести. Всё, с чем завтра я уйду в никуда.

Я вошла в свою комнату и остановилась на пороге.

Что-то ударило в грудь так сильно, что я схватилась за дверной косяк. Здесь всё осталось как было: кровать стояла развороченная; связанные простыни всё ещё свисали из окна, матрас сдвинут к самому краю, стол с книгами, кресло у окна, ковёр, который я помнила с тех пор, как научилась ходить. Здесь прошло всё. Здесь я жила.

Я вспомнила, как отец будил меня тёплым светом из окна, он умел собирать солнечные лучи в ладонь и выпускать их в комнату, чтобы рассвет приходил ко мне раньше, чем ко всем остальным. Вспомнила мать: она делала мне самодельные игрушки из дерева и ткани, вырезала лошадок, шила кукол, плела корзинки из сухой травы. Вспомнила свой первый танец, мне было двенадцать, и я ужасно боялась, и отец сказал, что могу наступить ему на ноги сколько угодно, он всё равно будет улыбаться.

Однажды, когда мне было девять, я забралась в его кабинет и рассыпала по полу все бумаги, которые нашла на столе, просто потому что мне было скучно, а бумаги были красивые, с печатями и золотыми обрезками. Отец вошёл и застал меня сидящей посреди этого хаоса. Я думала, что он закричит. Он не закричал. Он сел рядом на пол, вздохнул и сказал:

— Ты хоть понимаешь, что это были бумаги с печатями от трёх городов?

Я помотала головой.

— Ладно, соберём вместе. Только больше никогда не трогай то, что не твоё.

Он подал мне два письма с одинаковыми красными печатями. Я положила их в одну стопку.

— Посмотри на них.

На одной печати в воск была вдавлена тонкая ветка. На другой — ветка с крошечной чертой поперёк стебля. Отец объяснил, что этой чертой помечают письма, которые нельзя вскрыть без разрешения адресата. Я вернула лист ему, держась подальше от воска.

— А если бы я её не заметила?

— Ты уже рассыпала их по полу. Давай узнаем, что ты ещё могла испортить.

Он говорил строго, но уголок рта дёрнулся. Потом показал, как отличать защитные знаки, как искать имя того, кто действительно отдаёт приказ, и почему в письме важна не только подпись, но и слова, которые человек обошёл молчанием.

У двери кашлянул Дарий, главный военный командир отца. Он держал небольшой свёрток: привёз мне заморские конфеты из земель, где недавно побывал. Я потянулась к нему, но отец прикрыл ладонью ближайшую стопку бумаг.

— Сначала закончим.

Я возмутилась. Дарий засмеялся и положил свёрток на край стола, подальше от чернил. Потом отец попросил меня сыграть посланницу одного из городов. Я должна была добиться, чтобы он прислал людей охранять дорогу, не пообещав взамен больше, чем мне разрешили. Первые три предложения я провалила. На четвёртом он перестал улыбаться и начал торговаться всерьёз.

Через пару часов бумаги вернулись на стол, а я помнила, какой город просил стражу, какой — зерно и кто из посланников спрятал просьбу в длинном вежливом письме. Отец принёс мне чашку горячего молока с мёдом. Он сказал, что злиться на меня дольше одного вечера не умеет и что это, наверное, его главная слабость. Конфеты мы с Дарием разделили уже после ужина.

Он всегда прощал. Всегда.

Вспомнила мать, она сказала мне много важных слов перед тем, как исчезнуть.

Это было за неделю до той ночи. Она сидела у меня в комнате, на краю кровати, расчёсывала мои волосы, рыжие, длинные, которые все находили странными, и молчала долго, а потом заговорила. Мать наклонялась над моей головой, и её каштановые волосы касались моей щеки. На подбородке у неё был маленький белый шрам. Я в детстве всё пыталась его стереть: мне казалось, она испачкалась мукой.

«Варвара, — сказала она. — Ты должна кое-что запомнить. Не сейчас, может быть, потом, когда меня не будет рядом. Ты не такая, как все. Ты никогда не была такой, как все, и никогда не будешь. Это не проклятье. Это просто ты. Что бы тебе ни говорили, что бы ни шептали за спиной, — это не проклятье. Ты — это ты, и в тебе нет ничего дурного».

Я тогда не поняла, о чём она. Мне было пятнадцать, я думала о платьях и танцах, и её слова прошли мимо меня, как ветер.

«Ещё, — продолжила она, — если когда-нибудь тебе станет страшно или одиноко, посмотри на луну. Не на жёлтую — жёлтую все видят. Посмотри на неё в тот момент, когда она меняется. Ты поймёшь. Я не знаю, когда это будет, но ты поймёшь. И помни: то, что ты видишь правда. Даже если все вокруг говорят, что этого нет».

Она поцеловала меня в макушку, встала и ушла. Через неделю её не стало.

Я не помнила этих слов долгие годы. Я вспомнила их только сейчас, сидя в тёмной комнате с сумкой в руках, и поняла, что мать ждала, что луна изменится. Не просто рассказывала мне о снеге — знала что-то, чего не решилась сказать прямо.

Теперь я помнила каждое слово.

В углу, под кроватью, я нашла коробку.

В ней лежали украшения те, что мне дарили на каждый год рождения. Кольца, подвески, браслеты, серьги, дешёвые и дорогие, простые и затейливые. Двадцать лет — двадцать украшений. Я взяла их с собой. Возможно, кто-то купит и не узнает меня. Возможно, кто-то купит и не увидит клейма изгнанника.

За воспоминаниями прошло ещё несколько часов.

Я собрала еду: хлеб, сыр, вяленое мясо, сушёные фрукты, немного соли в тряпице. Сложила всё в небольшую сумку. Переоделась в тёплое и удобное, в простую рубаху, плотные штаны, накидку с капюшоном, крепкие сапоги. Заплела тугую косу, чтобы волосы не мешали. Спрятала кулоны под рубаху, оба: старый, серебряный с тёмным камнем, что гасил мою магию,

и новый, синий, с оранжевым листиком клёна внутри. Кольцо с изумрудом оставила на большом пальце, хотя оно болталось и мешало.

А потом села ждать утренний колокол.

И погрузилась в мысли.

Почему Дэррил так поступил? Он говорил, что я играю в бедную, что я притворщица, что жирую в замке, пока другие голодают. Интересно, как ко мне относились другие слуги? Я вспомнила, как Дарий смеялся над моими переговорами, как кухарка оставляла мне тёплый хлеб, когда я засиживалась над книгами. Я больше не знала, что из этого было искренним и что видели во мне люди, пока я отворачивалась.

Как вообще получилась я?

Мать была человеком. Дочерью председателя совета — уважаемого, знатного, известного. Октябрьская. Без магии. С каштановыми волосами, которые она убирала за ухо, когда присаживалась ко мне на край кровати. Я помнила это движение лучше, чем портреты в доме. Отец — полубог Март, светлорусый, могущественный, пугающий.

У полубогов рождаются дети их месяца. Если исход неудачный — дети рождаются в месяц матери. Так устроен мир. Так было всегда.

А я была рыжей. И родилась тридцать первого января. В месяце смерти.

Если у пары рождался ребёнок в зимний месяц, они обязаны были или убить его сами, или отдать богу его месяца: отнести глубоко в лес и оставить там. По преданию, бог этого месяца или забирал младенца себе, или отвергал его, и тогда ребёнок умирал.

Мой отец не оставил меня.

До начала марта он прятал меня в замке, никого не подпуская, а потом объявил, что я родилась первого марта, в его месяц. Слуги не поверили. Они видели беременную мать, считали месяцы, ждали, что она родит зимой, и все готовились к тому, что она с тяжестью в сердце отдаст меня лесу. В последние недели перед родами к матери допускали только няню и повитуху. Остальные могли считать месяцы сколько угодно — свидетельствовать им было не о чем. Но они знали. Все знали. И все молчали, потому что отец был богом, а боги не любят, когда им перечат.

Дни рождения я отмечала дважды.

Первый тихо, только с родителями, в моей комнате. Мне дарили подарки, приносили вишнёвый пирог, который в январе было не достать, отец доставал его через своих людей, через знакомых, через кого-то, кто не задавал вопросов. Мы сидели втроём, ели пирог, и мать гладила меня по голове, и отец улыбался, и никто не говорил вслух, почему мы празднуем именно сегодня. После её смерти пирог всё равно появлялся каждый год. Только за столом нас осталось двое.

Второй в марте, официально, с гостями и балом. Меня поздравляли, мне дарили украшения, я танцевала до утра, и все говорили, какая я красивая, какая счастливая, какая удачная дочь у великого Марта.

Мне нравилось получать подарки дважды. Два дня рождения — это подарок для ребёнка. Я гордилась этим. Я думала, что я особенная.

И только сейчас я начала понимать, что это проклятье.

Рыжие волосы чаще встречались у летних детей или сентябрьских, а я родилась зимой — хотя ни мать, ни отец не были зимними. Откуда это во мне?

По щекам потекли слёзы.

Я посмотрела на сумку. Умела отличать поддельную печать от настоящей, читать защитные знаки, замечать, чего посланник не написал в письме. Отец научил меня торговаться с людьми, которые называли требование просьбой. Ничто из этого не подсказывало, на сколько дней хватит собранной еды, какие грибы можно есть, как отпугнуть волка и где искать воду, если никто не пустит меня в дом.

Может быть, лучше саботировать суд? Довести совет до того, чтобы они приняли решение убить меня? Быстрая смерть, прощание, конец. Не скитание, не голод, не одиночество, не молчание.

Я думала об этом, и внутри всё сжималось.

Я проверила застёжку сумки. Потом ещё раз, хотя она держалась крепко. Рядом лежали украшения — всё, что я могла продать, если мне вообще позволят подойти к торговцу.

Колокола зазвонили.

Утро.

## Глава 9

Первые минуты было тихо.

Я сидела на верхней ступеньке лестницы, сжимая лямку сумки, и уговаривала себя, что ничего не произойдёт. Это шутка. Большая, злая шутка отца за все мои побеги, за все его седые волосы, за все ночи, которые он не спал из-за меня. Он хочет, чтобы я поняла, наконец, что уходить нельзя. Он хочет меня напугать. Он не может меня изгнать. Он не может.

Тишина.

Тишина.

А потом её разорвал женский крик.

Я вздрогнула. Крик был дикий, злой, требовательный. К нему присоединились мужские голоса, сначала далёкие, потом ближе, потом ещё ближе. Звуки шли со стороны ворот, и с каждым мгновением они становились громче, гуще, страшнее. Я слышала, как они приближаются, как нарастает этот гул, и дикий страх охватил меня, хотя я всю ночь продумывала свою речь, хотя я знала, что скажу, и в одно мгновение я забыла всё. Всё, каждое слово.

Я подошла к окну.

У ворот собралась толпа. Много людей — десятки, может, сотни, и все они стояли за оградой, не заходя на территорию замка, но кричали, возмущались, тыкали пальцами в сторону дома. Они не заходили. Никто не заходил. Они просто стояли и ждали.

А потом сквозь толпу прошёл человек.

Он был в длинной официальной чёрной мантии, с серебряной вышивкой по краю. Толпа расступалась перед ним, как вода перед камнем. Он единственный зашёл на территорию замка, поднялся по ступеням и постучал в дверь.

От каждого удара моё тело тряслось. Страх проходил волнами, снизу вверх, до самого горла, и я не могла дышать. Я начала спускаться, чтобы открыть, но, когда подошла к лестнице, услышала, что дверь уже открыли.

Отец.

Он стоял в дверном проёме, спокойный, как всегда. Человек в мантии — член совета, я узнала его по вышивке, стоял напротив и говорил. Он предъявлял обвинения. Я слышала каждое слово, хотя стояла наверху.

— Варвара Клирбрук, — произнёс он, — обвиняется в нарушении закона о зимних рождениях, в сокрытии истинной сущности, в колдовстве и нанесении вреда жителям города. Совет обязан забрать её для суда.

Отец нарочито удивился. Так удивился, что я почти поверила.

— Варвара! — позвал он громко. — Спустись, пожалуйста.

Я спустилась.

Человек в мантии посмотрел на меня и его лицо изменилось. Он сразу заметил мою одежду: не платье, не наряд принцессы, а простую рубаху, плотные штаны, накидку и сапоги. Заметил сумку в моей руке. Он был прожжённым политиком, этот человек, и он понял всё в одну секунду. Он понял, что хотел сделать мой отец. Он понял, что отец готовил меня к бегству ещё до суда.

— Вы... — начал он, но отец перебил его.

— Совет хочет тебя забрать, — сказал он мне ровно, будто объявлял о приходе госте. — Будет суд. Мы пойдём вместе.

Я всё слышала. Я знала, но я кивнула, потому что говорить не могла.

Мы вышли.

Толпа ждала нас. Я никогда не видела столько людей сразу, они стояли вдоль всей дороги от замка до площади, выстроившись живым коридором, по которому нам предстояло пройти.

Они щебетали, перешёптывались, смотрели на меня, и я чувствовала их взгляды кожей. Кто-то хотел освистать, я видела, как кривятся их губы, как набирают воздух их рты, но не могли. Отец вёл меня под руку, а его они не могли освистать.

Один из них поставил мне подножку.

Я споткнулась, полетела вперёд, но не упала. Магия подхватила меня, удержала в воздухе, поставила на ноги, а человек, который подставил ногу, закричал от боли и схватился за колено. Я не обернулась.

Колонна со стороны отца расступалась. Люди отходили, давали ему идти свободно, кланялись, отводили глаза. Колонна с моей стороны напирала. Меня толкали, тянули за рукав, хватали за полы накидки, сжимали коридор до узкой щели. Я шла сквозь этот коридор из глаз и рук, сквозь крики и шёпот. Люди отступали перед отцом. Он мог остановиться — и остановились бы все. Почему же мы продолжали идти? Почему отец позволяет им провести суд? Никто не смеет сказать ему слово, его все боятся, а чего он боится? Почему он отдаёт меня на суд?

Мы дошли до здания Суда на краю площади. Круглая крыша поднималась над соседними домами, а каменные ступени у входа были истёрты посередине — здесь люди привыкли ждать решения сверху.

Крестьян внутрь не пустили, они остались снаружи, гудя и толкаясь у дверей. На скамьях уже сидели советники, старейшины и другие важные лица, которых я прежде не видела. Под круглой крышей гудели голоса; здесь каждый шёпот с задних рядов казался обращённым ко мне.

И Гарен.

Он стоял с правой стороны зала прямо, неподвижно, как всегда. Совет сидел посередине, и среди них было одно свободное кресло. Отец прошёл к нему и сел.

Среди приглашённых горожан я заметила Стеллена. Его видела всего несколько раз, зато сразу узнала цвета семьи: такую же одежду носил человек, который ждал Эли за оградой нашего сада. Возле Стеллена сидели его родители. Эли с ними не было.

Я поняла: мой обвинитель — известный старейшина города, сухой старик с длинной бородой и глазами, в которых не было ничего, кроме ненависти. Мой защитник — Гарен.

Я прошла к нему и встала рядом.

Суд начался.

Обвинитель выступил первым — старейшина Вельд. Он поднялся с места медленно, опираясь на резной посох, и обвёл зал тяжёлым взглядом, будто хотел запомнить каждое лицо. Голос у него был как скрип несмазанного колеса высокий, дребезжащий, но отчётливый, и каждое слово он чеканил так, будто вбивал гвозди в крышку гроба.

— Совет, старейшины, почтенные граждане, — начал он. — Сегодня мы собрались здесь, чтобы судить не просто преступницу. Сегодня мы собрались, чтобы судить само проклятие, которое двадцать лет висит над нашим городом, над нашими полями, над нашими детьми. Перед вами стоит Варвара Клирбрук, дочь наместника Марта, и я намерен доказать вам, что она не та, за кого себя выдаёт.

Он сделал паузу и повернулся ко мне. Я выдержала его взгляд. Едва.

— Все эти годы нам говорили, что она родилась в марте. Все эти годы нам показывали на неё и говорили: смотрите, дочь полубога, рождённая в его месяц, благословлённая, чистая, но я держу в руках документы, — он поднял пожелтевшие листы с печатями, — которые говорят иное. Записи повитух. Записи совета о беременностях. Свидетельства тех, кто видел её мать в последние месяцы перед родами. И всё это, всё до единой строчки, указывает на одно: Варвара Клирбрук родилась тридцать первого января. В месяце смерти. В запретный месяц.

Зал загудел. Кто-то ахнул. Кто-то зашептался. Вельд поднял руку, призывая к тишине, и продолжил.

— Запись о самих родах у вас есть? — прервал шепот Гарен. — У нас достаточно свидетелей. — Я спросил о записи.

Вельд проигнорировал его вопрос.

— Вы спросите: почему это преступление? Отвечу. Закон наших отцов, закон богов, закон самой земли гласит: ребёнок, рождённый в зимний месяц, должен быть возвращён своему богу. Его должны отнести в лес и оставить там или убить, если родители не желают милости богов. И этот закон подписали девять полубогов, те самые, что даруют жизнь самой земле, те самые, что несут замысел богов и говорят от их имени. Девять подписей. Девять печатей. Их слово не мнение, не совет, не пожелание. Их слово — воля небес. И этот закон спасал нас полвека. Он — единственное, что стоит между нами и возвращением холода. Так было решено. Так было записано. Так должно было быть и здесь. Но Март, наместник и полубог, нарушил закон. Он утаил ребёнка. Он скрывал её до марта, а потом объявил всему миру, что она родилась в его месяц. Он солгал совету. Он солгал нам всем.

Он снова повернулся ко мне, и в его глазах мелькнуло что-то живое, что-то очень старое и очень злое.

— И с тех пор, — сказал он, — с тех самых пор, как эта девка появилась на свет, земля перестала рожать. Урожай становится хуже год от года. Год за годом мы теряем поля, скот, людей. Наши дети голодают. Наши старики умирают от болезней, которых раньше не знали. А мы всё спрашиваем себя: почему? Почему боги гневаются на нас? Почему они отвернулись от нашего города? — Он выдержал паузу. — Вот ответ. Вот он стоит перед вами. Двадцать лет мы платим за чужой грех. Двадцать лет мы носим проклятие на своей земле, потому что один человек решил, что его дочь важнее нашего закона. Сегодня на улице Красильщиков обнаружены трое горожан, заключённых во льду. Стража и доблестные маги до сих пор не смогли их освободить.

Он опустил документы на стол.

— Сегодня, — объявил он, — перед вами выступят пятеро свидетелей. Пятеро горожан, которым известно, что делала и говорила обвиняемая. Пятеро, кто не побоялся говорить правду. Я прошу совет выслушать их и вынести справедливый приговор.

Он сел. Зал молчал.

Потом выступил Гарен.

Он поднялся не спеша, без суеты, и обвёл зал тем самым взглядом, которым обычно заставлял меня замолчать с полуслова. Голос у него был ровный, спокойный, будто он говорил не перед советом старейшин, а на пустом дворе.

— Совет, старейшины, почтенные граждане, — начал он. — Я стою здесь как защитник, и я скажу вам прямо: сегодня судят не преступницу. Сегодня судят дочь полубога и судят её незаконно.

Он сделал шаг вперёд.

— Варвара Клирбрук — дочь Марта. Не просто наместника, не просто знатного человека. Полубога. Одного из тех, кто дарует земле жизнь, кто несёт замысел богов, кто говорит от их имени. И закон, на который ссылается мой уважаемый противник, закон, подписанный девятью полубогами, сам же этот закон и нарушает, потому что ни один из девяти не давал согласия на суд над ребёнком своего брата. Совет не имеет права судить дочь полубога без согласия остальных полубогов. Это не моё мнение. Это писанный закон, и он стоит выше любого другого.

Вельд положил перед ним запечатанный лист, но не стал его открывать. — Согласие получено.

— Защита требует предъявить согласие, — сказал Гарен. — Совет проверил его подлинность, — ответил Вельд и сразу же убрал лист под мантию. — Тогда внесите в запись: защите отказано в ознакомлении.

Гарен посмотрел на Вельда, несколько секунд решался стоит ли подойти и просить рассмотреть бумаги, но продолжил.

Я успела разглядеть на сургуче только край знака. Отец учил меня: печать подтверждает, кто отправил письмо, но не говорит, на что именно он согласился. Не открыв листа, Гарен не мог проверить ни единой строки. Я ждала, что он потребует задержать суд до предъявления документа. Он не потребовал.

— Далее. Обвинение говорит, что она опасна. Что она накликает беду. Что она проклинает поля. Она не насылала ни града, ни засухи, ни болезней. Пока обвинение не покажет связи между её поступком и погибшим полем, перед вами только страх горожан. Страх не доказывает вину. И я прошу совет помнить об этом, когда вы будете слушать свидетелей моего противника.

Он повернулся к столу, где лежали документы.

— И последнее. Обвинение утверждает, что она скрывалась. Что её прятали. Но я спрашиваю вас: кто из вас, зная, что его ребёнку грозит смерть, отдал бы его в лес? Кто из вас, зная, что совет придёт за вашей дочерью, не спрятал бы её? Вы утверждаете, что её прятали, но угрозы звучали раньше, чем появились ваши доказательства. Март защищал дочь от людей, которые уже решили, что она виновна. Осторожность отца не доказывает дату её рождения.

Он выдержал паузу.

— У защиты тоже есть свидетели, — сказал он. — Пятеро. Пятеро людей, которые знают Варвару Клирбрук не по слухам, а по жизни. Пятеро, кто готов сказать правду. Я прошу совет выслушать их так же внимательно, как выслушал обвинение.

Он сел.

Зал молчал.

Начались прения.

Первым вышел торговец с рынка. Полный, краснолицый мужчина с бегающими глазами, он вышел вперёд и поклонился совету.

— Зовут меня Ральд, — начал он, — торгую на рынке двадцать лет, и двадцать лет я вижу одно и то же. Эта девица, — он кивнул в мою сторону, — не та, за кого себя выдаёт. Я слышал своими ушами, как она проклинала урожай. Говорила, что земля должна замёрзнуть, что все мы передохнем, что придёт зима и заберёт нас всех. Я слышал это сам, своими ушами. И не раз. Ходит она по ночам босиком по полям, я видел её следы, тонкие, как у птицы, и после её прогулок земля плодородит хуже. А в позапрошлый год град побил половину полей. Кто насылает град, если не она?

Он замолчал. Совет кивнул.

Гарен встал.

— Скажи, Ральд, — спросил он спокойно. — Если ты слышал, как она проклинает урожай, почему ты не пошёл к страже?

Торговец замаялся.

— Ну... я... не хотел неприятностей.

— Не хотел неприятностей, — повторил Гарен. — Сколько Варваре было лет, когда ты впервые услышал эти слова?

— Не считал я её годы.

— Тогда назови последнюю ночь, когда ты слышал проклятие.

— Я же сказал: ночью она по полям ходит.

— А следы, которые ты видел, — ты можешь сказать, где именно? В каком поле? В какую ночь?

— Я... я не помню точно. Но я видел!

— Ты видел, но не помнишь где. Ты слышал, но не пошёл к страже. — Гарен повернулся к совету. — У меня всё.

Вельд поджал губы. Торговец отошёл в сторону, вытирая вспотевший лоб.

Второй свидетельницей стала женщина — худая, сторбленная, с руками, покрытыми землёй, будто она только что пришла с поля.

— Зовут меня Мирта, — сказала она. — Три года назад у меня засохла яблоня. Единственная яблоня, которая кормила меня зимой. Я видела эту девушку на дороге в тот день. Она прошла мимо моего дома и посмотрела на мою яблоню, а через неделю дерево засохло. Я знаю, что это она.

— Ты видела, как она что-то сделала с твоей яблоней? — спросил Гарен.

— Нет, но она смотрела на неё. Она зимняя! — воскликнула женщина. — Всё, к чему она прикасается, гибнет!

— Что именно она сделала? — Посмотрела на яблоню.

— С дороги? — Да. — Кто ещё проходил по этой дороге за неделю? — Откуда мне знать? Гарен повернулся к совету. — Но виновную она выбрала. У меня всё.

Мирта села, поджав испачканные землёй руки. Я знала, что не губила её яблоню. Она, похоже, столь же твёрдо знала обратное.

Третий вышел старик — древний, с трясущейся головой, опираясь на палку. Его звали Ольд. Он сказал, что был знаком с моей матерью.

— Я знал её мать, — сказал он. — Хорошая была женщина. Из совета. Октябрьская. Но я знаю и другое: перед смертью она мне призналась. Сказала, что родила зимой. Что ребёнок родился тридцать первого января, а не первого марта. Что она не хотела этого ребёнка, но муж заставил её скрыть правду.

«Не хотела этого ребёнка». Я ждала, что отец перебьёт его. Скажет хоть слово. Но старик уже закончил, а в зале по-прежнему слушали.

— Когда именно она тебе это сказала? — спросил Гарен.

— За неделю до смерти.

— Ты можешь подтвердить свои слова хоть чем-то? Письмом, свидетелем, чем угодно?

— Мне не нужно подтверждать. Я стар. Я знаю, что говорю.

— Ты знаешь, что говоришь, — кивнул Гарен. — Но ты не можешь доказать. У меня всё. Я снова посмотрела на отца. Он сидел неподвижно. Мне хотелось, чтобы он защитил хотя бы память матери.

Четвёртым вышел мальчишка. Лет двенадцати, худой, испуганный, он вышел вперёд и сбивчиво сказал, что видел, как я заморозила воду в колодце.

— Я пришёл за водой, — сказал он, — а она стояла у колодца. И вода... вода стала твёрдой. Как камень. Я не смог набрать воды. Я сказал маме, а она сказала, что это колдовство.

— Ты видел, как она касалась воды? — спросил Гарен.

— Нет, но она стояла рядом.

— Скажи, мальчик. — Гарен наклонился чуть ближе. — Ты когда-нибудь видел, чтобы вода замерзала?

Мальчик замялся.

— Нет. Никогда. Поэтому мы и испугались.

— Ты видел её лицо?

Мальчик покраснел.

— Мама сказала...

— У меня всё.

Мальчишка почти бегом вернулся на скамью. Мне было жаль его, пока я не вспомнила, что он пришёл свидетельствовать против меня.

Последним назвали Стеллена. Он поднялся со скамьи рядом с родителями. Я видела, как он поправил рукав в цветах своей семьи, прежде чем выйти вперёд.

— Откуда вам известна Варвара Клирбрук? — спросил Вельд.

— Через мою невесту. Эли дружит с ней с детства.

— Рассказывала ли Эли об их встречах в ночь Холодной Луны?

— Каждый год они ходили на водонапорную башню. Варвара ждала, когда луна станет синей.

— В этом году Эли тоже была там?

— Да. Варвара сказала ей, что видела перемену луны.

На крыше нас было только двое. Я смотрела на Стеллена и слышала, как наш разговор становится его показаниями.

— Чего обвиняемая хотела после этого? — спросил Вельд.

— Снега. Она говорила, что ждёт возвращения зимы.

— Эли испугалась?

Стеллен задержал ответ. Потом взглянул на место, где сидел его отец.

— Да.

Эли схватила меня за руку, когда луна менялась. Она действительно испугалась. Но я не знала, такими ли словами она рассказала об этом Стеллену.

— Что произошло несколько дней спустя? — продолжил Вельд.

— Варвара обещала Эли тайно выйти из замка, хотя отец запретил ей покидать дом. Эли рассказала мне об их уговоре заранее. Я велел ей остаться дома.

— Почему?

— Эли не должна подвергать себя опасности ради человека, который ждёт зимы.

— У вас есть доказательство, что Варвара угрожала Эли? — спросил Гарен.

— Я этого не говорил.

— Тогда что именно вы утверждаете? — спросил Гарен. — Что Варвара хотела увидеть снег и договорилась встретиться с подругой?

Вельд поднял руку.

— Свидетель вправе сообщить, чего опасалась его невеста. Совет сам оценит её слова.

— Совет не слышал её слов, — ответил Гарен. — Он слышит пересказ жениха.

Я ждала, что Гарен спросит, кто ещё знал о нашей встрече. Он посмотрел на Стеллена, затем на писца.

— Эли придёт, если совет потребует, — сказал Стеллен. — Но перед свадьбой она нездорова. Я надеюсь, её не заставят снова переживать эту ночь.

Он вернулся к родителям. Его мать придвинулась, освобождая ему место. Я всё смотрела на пустое кресло рядом с ней, словно Эли всё-таки могла появиться и сказать, что предупреждала меня.

Свидетели обвинения закончились. Гарен нашёл слабость в словах каждого, но от этого люди в зале не перестали смотреть на меня с ненавистью. Показания Стеллена они запомнили лучше его возражения.

Потом вышли свидетели защиты.

Первым вышел старый конюх — Тобиас, с которым я провела половину детства на конюшне. Он сказал:

— Я знаю госпожу Варвару с тех пор, как она научилась ходить. Она не появлялась в полях. Она не ходила по деревням. Она не насылала никакого града. На рассвете после того града она была у меня в конюшне. Всю ночь жеребилась кобыла, госпожа помогала держать фонарь. Я простой человек, но я не позволю оболгать ребёнка, которого растил.

Вельд спросил, не подкупил ли его Март. Тобиас ответил, что Март ему ничего не предлагал, а если бы предложил, он бы всё равно сказал правду, потому что правду нельзя купить.

Второй выступила старшая кухарка — Мадда, полная, краснолицая, с руками, которые никогда не знали отдыха. Мать Дэррила работала у неё в подчинении. Она сказала:

— Я кормлю эту девочку двадцать лет. Я знаю, что она ест, я знаю, когда она встаёт, я знаю, когда она ложится. Если она и ходит по полям, то только во сне, потому что наяву у неё

на это нет времени, она либо со мной на кухне, либо с Гареном во дворе, либо с книгами у себя в комнате. По ночам я за ней не слежу. Ни отравы не просила, ни снадобий тайком не варила. Что видела — о том и говорю. Никакой она не колдун. Она ребёнок. Ваш ребёнок, совет. Ребёнок вашего наместника.

Вельд спросил, видела ли она когда-нибудь, чтобы я делала что-то странное. Мадда ответила, что видела, я однажды заплакала, потому что мне стало жалко мёртвую птицу. Если это колдовство, сказала она, то тогда все мы колдуны.

Третьим вышел садовник — Горден, старик с руками в земле и глазами, которые всегда смотрели вниз. Он сказал:

— Я слежу за садом двадцать лет. Я знаю каждое дерево, каждый куст, каждую травинку. За двадцать лет сад не засох ни разу. Ни одна яблоня не погибла. Ни один куст не пропал. Госпожа Варвара гуляет по саду, но она не трогает ни листьев, ни веток. Она не может проклясть то, к чему даже не прикасается.

Вельд спросил, откуда он знает, что она не прикасается. Горден ответил, что он сам водил её по саду и знает, что она ходит по дорожкам, а не по грядкам. Она каждый день бывает в саду. Если от одного её взгляда сохнут деревья, почему мой сад до сих пор жив?

Четвёртым вышел старый стражник — Барт, тот, что служил у отца до Гарена. Он сказал: — Я охранял госпожу Варвару двенадцать лет. Пока я отвечал за неё, не было никаких ночных прогулок по полям. Я знал, когда она выходила из замка и когда возвращалась. Если у Ральда есть день и место, пусть назовёт.

Вельд спросил, не упускал ли он её когда-нибудь. Барт ответил, что один раз упустил, когда ей было пятнадцать, и за это получил выговор. Позднее отец поручил её охрану другим.

Это было ближе к правде. Барт не знал обо всех моих следующих побегах и не притворялся, что знает.

А потом вышла моя няня.

Её звали Сольвейг. Она была со мной с самого детства с тех пор, как я появилась на свет. Она держала меня на руках, когда я была младенцем. Она пела мне песни, когда я не могла заснуть. Она лечила мне коленки, когда я падала. Она была одной из трёх, кто знал мою тайну, и одной из тех, кто хранил её все эти годы.

Сольвейг вышла вперёд, придерживая концы серого платка. Из-под него выбивались тонкие белые волосы. Круглое лицо с годами осунулось, но подбородок остался прежним — маленьким, упрямо вздёрнутым. С таким лицом она когда-то запрещала мне вставать с постели с горячкой. Теперь смотрела на совет. И я почувствовала, как у меня сжалось горло.

— Зовут меня Сольвейг, — сказала она тихо. — Я служу в доме наместника сорок два года. И я хочу сказать совету одну вещь.

Она помолчала, собираясь с духом.

— Я была на родах. Я присутствовала, когда госпожа Варвара появилась на свет. Я своими глазами видела, как она родилась. И я клянусь вам всем, чем могу поклясться: она родилась первого марта. В первый день месяца Марта. В месяц своего отца.

Зал затих.

— Я знаю, что говорят люди, — продолжила Сольвейг. — Говорят, что она зимняя, что её скрывали, что она родилась в январе. Это ложь. Я была там. Я держала её на руках, когда она была ещё в крови и плакала. Я помню этот день так же ясно, как помню своё имя. Она мартовская. Она дочь Марта. И если совет обвиняет её в том, чего она не совершала, то совет обвиняет невинную.

Она солгала на суде.

Ради меня.

Мои глаза расширились. Мне стало так стыдно, что я едва удержалась на ногах. Эта прекрасная, добрая женщина врала перед советом, врала под страхом наказания, врала ради меня, и я ничем не могла её защитить.

Совет задавал вопросы.

— Сольвейг, — начал Вельд, — ты понимаешь, что, если ты лжёшь под присягой, тебя ждёт наказание?

— Понимаю.

— Ты готова повторить свои слова ещё раз?

— Готова. Она родилась первого марта.

— Почему ты молчала об этом двадцать лет?

— Потому что никто не спрашивал.

— А почему ты не сказала, когда узнала, что её обвиняют в зимнем рождении?

— Потому что я узнала об этом, когда пришла сюда. Люди говорят много лжи, совет. Я не обязана отвечать на каждый слух.

— Ты уверена в своих словах?

— Я уверена в том, что видела своими глазами. Я стояла рядом с её матерью. Я слышала её первый крик. Я знаю, в какой день это было.

Вельд замолчал. Он смотрел на неё долго, испытующе, но Сольвейг не отводила глаз. Она стояла прямо, насколько позволяла ей спина, и держала руки перед собой, и в её лице не было ни тени сомнения.

Мне казалось, это длится вечность.

— Запишите показания Сольвейг отдельно, — сказал Вельд. Я обернулась к няне. Она едва заметно покачала головой: молчи.

Потом пришло время моего последнего слова.

Я посмотрела на отца. Он кивнул.

Я вышла вперёд. Зал смотрел на меня, мне казалось, что это сотни глаз, сотни лиц, сотни мыслей, которые я читала без труда: она виновна, она зимняя, она должна уйти, она должна умереть. Я стояла перед советом, перед свидетелями, перед Гареном, перед отцом, и не могла выдать ни звука. Слова застряли в горле. Я собиралась сказать, что не желаю никому зла. Собиралась врать. Собиралась говорить то, что нужно, то, что спасёт меня, то, что убедит их, то, что сработает.

Я открыла рот и остановилась.

Я снова посмотрела на отца, но он не подсказал ни словом, ни жестом, что отвечать. Он ждал.

И тогда я сказала правду.

— Совет, старейшины, почтенные граждане, — начала я, и голос мой дрожал, но я говорила. — Я не буду врать. Я хотела, но не буду. Вы все знаете, кто я. Вы все знаете, что я родилась в январе. Я не буду это отрицать.

Зал затих. Кто-то ахнул. Вельд подался вперёд.

— Я знаю, что говорят обо мне, — продолжила я. — Говорят, что я накликаю беду, что из-за меня сохнет урожай, что я проклинаю поля и насылаю град. Я не делала этого. Я никогда ходила через поля, я не портила посевы и не насылала град. Я никогда не желала зла ни одному человеку в этом городе, но я не могу это доказать, потому что доказать невиновность невозможно, когда все уже решили, что ты виновна.

Я сделала вдох.

— Но есть одна вещь, которую я должна сказать. Одна вещь, которую вы ещё не знаете. Вы рассказали, что я сделала на улице Красильщиков. Теперь я расскажу, что там сделали со мной.

Я посмотрела на Гарена. Он смотрел на меня спокойно, и в его глазах не было ни страха, ни удивления. Только ожидание.

— Сегодня ночью на меня напали, — сказала я. — Трое. Они ударили меня по голове, потом в живот, сбили с ног, и один из них держал кинжал. Они хотели меня убить. Не судить, не изгнать, а убить. Они говорили, что им заплатили. Что заказчик хочет посмотреть, как я умру.

Я повернулась к совету так, чтобы они увидели разбитый висок. — Это случилось сегодня ночью.

Зал загудел. Я слышала, как перешёптываются на скамьях, как кто-то встал, как кто-то схватился за голову.

— Я защищалась, — сказала я. — Я не хотела никого убивать. Я не знала, что делаю, но, когда человек с кинжалом заносит руку над твоей грудью, ты не думаешь. Ты просто... — я замолчала, подбирая слова. — Я заморозила их. Всех троих. Я не знаю, живы ли они. Я не знаю, можно ли их разморозить. Я не знаю, как это делается. Я знаю только одно: это сделала я, и я не жалею об этом.

Тишина.

— Один из них — Дэррил, — сказала я тише. — Сын кухарки. Тот, кто приносил мне булочки. Тот, кто улыбался мне. Тот, кто говорил, что я ему нравлюсь. Он держал кинжал и говорил, что я должна сдохнуть. Что все январские должны сдохнуть. Что он всегда меня ненавидел.

Я сделала вдох и посмотрела прямо на совет.

— Я знаю закон полубогов, — сказала я. — Я знаю, что он гласит. Человек имеет право защищать свою жизнь. Если на него напали и он, защищаясь, убил нападавшего, — он оправдан божьим судом. Не людьми, не советом, не вами, а богами. Так записано. Так подписано. Так должно быть и здесь. Я не хотела их убивать. И если вы будете судить меня за это, то вы будете судить не меня, а закон, под которым вы сами же и подписались.

Я замолчала.

Зал заохал. Люди зашептались, задвигались, загудели, как потревоженный улей. Вельд вскочил, требуя тишины, но его никто не слушал. Кто-то кричал, что я убийца, кто-то что я защищалась, кто-то что Дэррил всегда был гнилым мальчишкой. Гарен не двигался. Отец не двигался. Они оба смотрели на меня, и в их взглядах было что-то, чего я не могла прочесть.

А я стояла посреди этого шума и думала только об одном: я сказала правду. И теперь будь что будет.

И только потом я подняла глаза на отца и не нашла в них разочарования. Мне показалось, что он был мной горд. От этого стало ещё больнее: через пару минут он всё равно должен был вынести решение.

Пятеро советников высказались по очереди. Каждый поднимался со своего места, и каждый говорил долго, веско, глядя не на меня, а куда-то поверх моей головы, будто я была не человеком, а вещью, которую они оценивают и осуждают.

Первым встал старейшина Хальден — грузный мужчина с тяжёлым подбородком и голосом, который заполнял зал целиком.

— Я выслушал всё, — сказал он. — И свидетелей обвинения, и свидетелей защиты. И я скажу так: закон есть закон. Пятьдесят лет назад девять полубогов подписали его, чтобы защитить нас от холода. Ребёнок, рождённый в зимний месяц, должен быть возвращён своему богу. Для дочери наместника нельзя сделать исключение, которого мы не сделали бы для другого ребёнка. Я голосую за вину.

Вторым встал старейшина Корвен — тощий, с длинными пальцами и глазами, которые никогда не моргали.

— Я хочу сказать о другом, — произнёс он тихо. — О сокрытии. Двадцать лет эта девица жила среди нас под чужим именем. Её отец лгал совету, лгал городу, лгал всем нам. И если она

сама не лгала, но она знала. Она знала, кто она. Она знала, что её рождение — преступление. И она молчала. Молчание — это тоже ложь. Я голосую за вину.

Третьим встал старейшина Морн — молодой, красивый, с идеальной осанкой и холодным, как лёд, взглядом. Он говорил негромко. Вельд наклонился вперёд, чтобы расслышать, и остальные притихли вместе с ним.

— Я скажу о магии, — произнёс он. — Сегодня мы услышали признание. Она заморозила трёх человек. Я не знаю, живы ли те трое, но я знаю одно: если она останется среди нас, она заморозит кого-нибудь ещё. Я голосую за вину.

Четвёртой встала старейшина Ильва — единственная женщина в совете, седая, с уставшими глазами матери, потерявшей слишком много детей.

— Я скажу о вреде, — сказала она. — Я не буду говорить о законе или магии. Я буду говорить о том, что вижу каждый день. Урожай падает. Поля сохнут. Дети болеют. Я не знаю, она ли причина, но люди верят, что она. И пока люди верят — покоя не будет. Вы можете судить её по закону, можете простить её по милости, но вы не можете заставить людей не бояться. А страх рождает ненависть. А ненависть рождает кровь. Я голосую за вину. Не потому, что верю в её вину, а потому, что не вижу другого выхода.

Пятым встал старейшина Вельд — тот самый обвинитель, сухой старик с посохом.

— Я не буду повторять то, что говорил, — сказал он. — Закон был подписан, чтобы наш город выжил. Я требую признать Варвару Клирбрук виновной и назначить высшую меру.

Пятеро. Все пятеро — за вину.

Я слушала их и чувствовала, как что-то внутри меня сжимается, твердеет, превращается в камень. Я знала, что так будет. Я готовилась к этому. Но одно дело — готовиться, и совсем другое — слышать.

Настала очередь отца.

Он встал.

Он поднялся медленно, без суеты, и зал затих так, что стало слышно, как скрипит перо писца, записывающего каждое слово. Отец обвёл совет долгим взглядом, тяжёлым, и остановил его на мне.

Я ждала, что он скажет.

Он сказал:

— Я признаю свою дочь виновной.

У меня остановилось сердце.

А затем совет удалился, чтобы принять решение.

Их не было очень долго. Мне казалось, что больше часа. Я сидела рядом с Гареном, и всё это время он был спокоен. Абсолютно спокоен. Через полчаса он просто спросил:

— Вы взяли еду?

Я уставилась на него.

— Что?

— Еду. Вы взяли еду с собой?

Я не понимала. Как он может быть так уверен? Зачем мне еда, если меня ведут на плаху? Я молчала. Сердце стучало так, что я слышала его в ушах. Секунды длились часами.

Гарен больше ничего не спросил. Я смотрела на дверь совещательной комнаты и ждала, когда он наконец объяснит, почему заговорил о еде.

И тут подошёл торговец.

Тот самый Ральд, краснолицый, с бегающими глазами, который рассказывал про мои ночные прогулки по полям. Он подошёл неслышно, встал надо мной и наклонился так близко, что я почувствовала запах перегара и лука.

— Ну что, госпожа, — сказал он тихо, чтобы не слышали остальные, — дождалась?

Я промолчала.

— Думала, отец тебя вытащит? Думала, полубог за тебя заступится? — он усмехнулся.  
— А он взял и признал. Собственный отец. Признал тебя виновной. Как тебе такое, а?

Я стиснула зубы.

— Я уезжал с рынка до рассвета, чтобы успеть купить зерно для своих детей, — сказал он. — Твой отец приносит весну, а поля всё равно пустеют. Ты хоть раз думала, чем мы кормим семьи, пока тебе накрывают стол?

Он ткнул пальцем мне в грудь.

— Ты.

Я не двинулась.

— Знаешь, что бы я с тобой сделал, если бы мог? — он наклонился ещё ближе. — Я бы тебя... — он не договорил, только ухмыльнулся, и от этой ухмылки мне стало тошно.

Я смотрела в пол. Я считала вдохи. Я говорила себе: не поддавайся. Не поддавайся. Он хочет, чтобы ты сорвалась. Он хочет, чтобы ты применила силу здесь, на глазах у суда, и тогда тебя точно казнят.

— Скоро тебе запретят говорить другим способом, — сказал он. — Когда совет выберет смерть, я приведу детей смотреть. Пусть знают, что бывает с зимними.

Он замолчал. Потом наклонился снова и сказал уже другим тоном — вкрадчивым, почти ласковым:

— А знаешь, что? Есть выход.

Я подняла на него глаза.

— Разморозь куб, — сказал он. — Тот самый, с мальчишками. Разморозь их и я похода-тайствую. Я скажу совету, что ты не безнадёжна, что ты можешь исправиться, что ты готова служить городу. Тебя не убьют. Может, даже оставят здесь. Может, даже под домашним при-смотром. Но ты должна это сделать. Прямо сейчас. При всех. Покажи, что ты умеешь не только убивать, но и возвращать.

Я смотрела на него.

Разморозить куб. Как смешно. Как будто я знала, как это делается. Я даже не знала, как я его заморозила. Я не контролировала свою магию, она выходила сама, когда я теряла себя. Я не умела вызывать её по команде. Я не умела ничего. Он рассчитывал, что я смогу? Или только хотел заставить меня снова применить магию перед советом? Чтобы все увидели, что я зимняя колдунья. Чтобы все увидели, что я ничтожество.

— Ну? — поторопил он. — Чего ждёшь?

Я открыла рот, чтобы сказать, что не могу, но не успела.

— Если ты подойдёшь ещё на шаг, — сказал Гарен тихо, — я вскрыю тебе брюхо.

Торговец замер.

Он обернулся. Гарен сидел на своём месте, не двигаясь, и смотрел на него тем самым взглядом. Затем он отодвинул ногу из-под скамьи и поставил подошву на пол. Торговец заметил это движение и отступил.

— Ты слышал, — сказал Гарен. — Шаг. Ещё один шаг.

Торговец отступил.

Он отступил на два шага, потом на три, потом развернулся и быстро пошёл к другой стороне зала, где стояли свидетели обвинения. Я слышала, как он что-то бормочет себе под нос, но слов было не разобрать.

Я посмотрела на Гарена.

Он не смотрел на меня. Он смотрел прямо перед собой, и на его лице не было ни тени улыбки, ни тени торжества. Только спокойствие. То самое спокойствие, которое я знала все эти годы.

Я не сказала ему спасибо. Я не могла. Горло сжало так, что я едва дышала.

Мы сидели и ждали дальше. За дверью спорили. Я узнала голос отца, но не разобрала слов. Потом всё стихло.

Советники вернулись вместе с отцом. Вельд вошёл последним и остался у стены.

Человек в мантии, тот самый, что забирал меня из дома, развернул свиток. В зале стало тихо. Так тихо, что я слышала, как потрескивает свеча в дальнем углу.

— Совет старейшин, выслушав обвинение и защиту, свидетелей с обеих сторон и последнее слово обвиняемой, — начал он ровным, официальным голосом, — постановил: признать Варвару Клирук виновной по всем пунктам обвинения. Однако, принимая во внимание её происхождение, а также отсутствие прямых доказательств умысла в нанесении вреда жителям города, совет постановил заменить высшую меру наказания на изгнание.

Он опустил свиток.

— Суд принял решение об изгнании.

На мгновение в зале повисла тишина такая плотная, что, казалось, её можно было потрогать руками. А потом обвинение взорвалось.

Ральд вскочил первым.

— Что?! — закричал он, и голос его сорвался на визг. — Изгнание?! Вы шутите?! «Это» — зимнее проклятие! Она заморозила трёх человек! Трёх живых людей! И вы отпускаете её с миром?!

К нему присоединились остальные. Свидетели обвинения: женщина, старик, Стеллен, все повскакивали со своих мест, закричали, замахали руками. Стеллен поднялся, но не кричал. Он что-то сказал отцу; тот ответил, не отводя глаз от совета. Кто-то требовал смерти. Кто-то кричал, что изгнание — это слишком мягко, что она выживет, что она вернётся, что она отомстит. Кто-то что совет продался, что Март купил решение, что полубоги всегда покрывают своих.

— Смерть! — орал торговец. — Смерть зимней твари!

— Вы не имеете права! — вторила ему женщина. — Она убийца! Она заморозила моего соседа!

— Совет предал нас! — кричал старик. — Совет предал закон!

Вельд поднял руку, призывая к тишине, но его никто не слушал. Он повернулся к отцу, и в его глазах была чистая, ничем не разбавленная ненависть.

— Ты, — прошипел он. — Ты это подстроил. Ты купил их. Ты всегда покупал всех.

Отец не ответил. Он сидел неподвижно, глядя прямо перед собой, и на его лице не было ни торжества, ни злорадства, ни даже удовлетворения. Только усталость. После совещания он сел, опираясь обеими руками на подлокотники. Я уже видела его таким ночью у погасшего камина. Тогда ещё надеялась, что к утру всё изменится.

Я посмотрела на него.

Он не смотрел на меня.

Снова подступили слёзы.

Человек в мантии поднял руку, и постепенно, шаг за шагом, крики начали стихать. Он дождался, пока в зале снова станет тихо, и продолжил всё тем же ровным, официальным голосом, будто ничего и не произошло.

— Решение вступает в силу немедленно, — объявил он. — Обвиняемая должна быть подвергнута клеймению.

Клеймение.

Я никогда не знала, как это происходит. Я читала об этом только в старых книгах, в тех, что отец запрещал мне читать, и даже там об этом говорилось вскользь, нехотя, будто авторы сами боялись этих страниц. Изгнание почти никогда не применялось, на всех судах, которые я видела, приговаривали к смерти. К смерти прибегали всегда. Смерть была простой, понятной, окончательной. Смерть закрывала вопрос.

За всю историю города, за все века, о которых помнили книги, изгнание применялось дважды. И оба раза изгнанные умирали в течение месяца, от голода, от холода и от рук тех, кто считал своим долгом очистить мир от проклятых.

Но теперь прибегли.

Ко мне.

Я стояла посреди зала и смотрела, как люди расходятся, как гаснут свечи, как пустеют скамьи. Я смотрела на отца, который так и не повернулся ко мне. Я смотрела на Гарена, который сидел неподвижно, и в его лице не было ни удивления, ни страха, ни радости.

И я ждала, когда меня заклеят.

Отец встал и направился ко мне.

Сердце запрыгало от радости. Я надеялась, что он обнимет меня на прощание, пока меня не заклеили, что скажет мне хоть слово, что посмотрит на меня так, как смотрел всю жизнь.

Но он шёл твёрдо. И всё ещё не смотрел мне в глаза.

Он встал напротив меня.

Он был так близко, что я видела каждую морщину на его лице, каждую седую прядь в бороде, каждую трещинку в его глазах. Он смотрел не на меня, он смотрел куда-то мне в грудь, туда, где под рубахой лежали два кулона, старый и новый.

Он поднял руку.

Он произнёс заклинание — длинное, гортанное, чужое, на языке, которого я никогда не слышала. Незнакомые звуки отдавались у меня в зубах. Отец произносил их медленно, не глядя мне в лицо. Я чувствовала, как эта теплая и беспощадная сила собирается в его ладони.

А потом он заговорил на нашем языке. Медленно, отдельно, так, чтобы каждое слово врезалось в меня и осталось там навсегда.

— Именем народа Марта, — произнёс он, — именем девяти полубогов, именем земли, которая нас носит, и неба, которое нас видит, я объявляю тебя, Варвара Клирбрук, изгнанницей для этого мира. Отныне и до конца твоих дней ты лишена дома. Ты лишена имени. Ты лишена права говорить и права быть услышанной. Никто, ни друг, ни враг, ни близкий, ни чужой не имеет права обратиться к тебе. Никто не имеет права помочь тебе. Никто не имеет права принять тебя под свой кров. Кто нарушит слово моё, тот навлечёт на себя гнев девяти и будет проклят вместе с тобой. Ты будешь идти, пока идётся. Ты будешь молчать, пока молчит. Ты будешь одн

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.